

Александр Моисеев

«Друзей моих  
прекрасные черты...»

*Часть I*

*Альма-матер — политехнический институт*

Челябинск  
2010

УДК 882  
ББК 84(2Рос-Рус)6  
М74

Серия «Дневники горожан»

Автор идеи, руководитель проекта А. Е. Попов  
Компьютерная верстка, оформление — В. Б. Феркель

**Моисеев А. П.**

**М74** «Друзей моих прекрасные черты...». Часть I. Альма-матер — политехнический институт. Воспоминания. 1956—1967 годы. — Челябинск, 2010. — 179 с.

Эта книга в серии «Дневники горожан» в своем роде юбилейная — десятая по счету и первая в публикации воспоминаний челябинцев по частям. Охватывает заметный период в истории страны, вошедший в народную память как «хрущевская оттепель», за ней следуют «брежневские заморозки и застой». Автор в то время учился и преподавал в Челябинском политехническом институте, отсюда, в основном, и герои воспоминаний.

УДК 882  
ББК 84(2Рос-Рус)6

© Моисеев А. П., 2010.

## Содержание

Сын века. Вместо вступления.....	5
Я ступаю на челябинскую землю. Август-56 .....	7
На специальность по новой технике.....	11
«Крещение картошкой» .....	13
Сплошной субботник.....	21
Частный сектор «Зеленый рынок». 1956 .....	23
Мы поем «Бориса Годунова» .....	26
Политбой на сцене «Политеха». Декабрь-56 .....	31
«Аквариум» Эге .....	34
Садик «Динамо» .....	39
Булычевка. 1957.....	43
«На аэроплане» в Этовне .....	45
В городке МВД .....	47
Люди в белых халатах .....	54
Одноклассники.....	61
«Благоустрой»-фото. Весна-58 .....	63
«Лучше гор могут быть только горы». Лето-58 .....	65
Футбольный строй. Весна-59 .....	68
«Нос с горбинкой, опущенные скулы...» .....	71
«Пионер-эксплуататор» .....	73
Шоферская практика. Лето-59 .....	75
Югинз.....	80
Общага. 1959 – 61 .....	84
«Паровоз Лебор», или «Раскрывая тайны сопромата». 1960 – 61 .....	88
Снежная целина. Зима-60 .....	95
Лагеря. Лето-60 .....	98
«Кадры» .....	107
Политехнический финиш. Весна-61 .....	119
Геологический пролог. 1961 – 64 .....	121
Здесь я был своим .....	123
Возвращение в круги своя. Осень-64 .....	127

На родной кафедре. 1965 .....	130
Идем на прорыв. 1966 .....	134
«Двигательское трио» .....	139
Взрыв общественной активности .....	145
«Экспрессионизм» .....	146
Аспирантский блок. 1966—67 .....	151
Соловьиные ночи .....	154
«Перепеты все песни...» .....	157
Книжно-политехнический эпилог. 2001—2007 .....	159
«Мы — с Автотракторного факультета» .....	160
Человек из песни .....	164
Вся жизнь на АТ-факе .....	167
Полмиллиона за голову Муё .....	168
«На земле, в небесах и на море» .....	172
Слово об авторе .....	176

*И вот тогда — из слез, из темноты,  
из бедного невежества бывшего  
друзей моих прекрасные черты  
появятся и растворятся снова.*

**Белла Ахмадулина**

## **Сын века. Вместо вступления**

Конечно, я сын советской эпохи, перебудоражившей не только страну, но и весь мир в Двадцатом веке. Сын века, столь знакового и жестокого к нашей стране, я такой, каким он меня сделал. По базаровскому изречению, как у большинства в моем поколении, «мой дед землю пахал», как и они, писал в анкете: «из рабочих». Мой род из хлебобобового центра России, «социалистическая революция в деревне» разгромила его, раскидала моих родичей добровольно-принудительно по белу свету. Моему отцу выпало надеть серую форму трудармейца на стройках первой пятилетки, кулацкому сыну не доверили защищать социалистическое Отечество с оружием в руках. По демобилизации ему хватило ума не возвращаться в деревню. Всех, кто вернулся, замели к Тридцать восьмому году, как и мой дед, они сгинули в лагерях.

Выделяю этот год, потому что я тогда родился в семье золотушского рабочего, передовика производства. Отец всегда хорошо работал (натура такая и инстинкт самосохранения): грамоты и медали за победу над Германией, ударник тылового фронта. Оружие в войну снова не доверили, по сути, снова трудармеец со всеми вытекающими жестокими последствиями. Благодаря ударному труду, он, в основном, их избежал, даже за колючкой не был. На моей памяти после войны были у него вызовы, понятно, куда. Выжил, из шестерых вырастил трех сыновей, всех «вывел в люди» — дал высшее образование. Жил, работал, растил сыновей, но «душа гнила», — признался мне уже взрослому.

Нам повезло оканчивать школу уже при Хрущеве. Кончилась эпоха сталинского «репрессионизма», засветилась пора «реа-

билитанса». Заверяю вас, никогда уже ни мне, ни братьям ни намек не было на темные пятнышки в происхождении, доверие полнейшее. У меня принимают документы в морское училище на капитана дальнего плавания (загранка), а потом отбирают из многих абитуриентов на новую — секретную специальность (ракеты). Диплом я отрабатываю в «геологии» в секретном Первом главке (разведка радиоактивных руд). Один брат служит в ракетных войсках (разворачивались первые дивизии), другой — «слухачом» (где-то в тундре есть суперсекретный центр, где подслушивают, о чем говорят за океаном). При выборе специальности и у них ни палочки в колеса. Я, в конце концов, стал газетчиком-книжником-литератором. И вот уже за полвека — челябинец.

По натуре я диссидент, уверен, что диссидентами не делаются по обстоятельствам, а рождаются. Я такой, сколь помню. Пионером не был (отец не пустил), в комсомол вступил тайком от него и верный «ленинец-сталинец» устраивал с отцом такие дискуссии, что он боялся их продолжать. Его позиция понятна, я же готов был идти на амбразуру «за дело партии и народа». Хрущевская оттепель сделала меня «шестидесятником». Да, я был «бойцом идеологического фронта», как высоким штилем обзывали журналистов. Но найдите хотя бы заметку с моим славословием властьпредержащих. Слава богу, в газетах и без идеологии было есть и будет о чем писать, не кривя душой. А вообще же, был себе на уме при Советах, таков и после, ну не по мне дела в коридорах власти.

«Но», и большое «но», я не борец. Сколько моих знакомых, в основном, по Москве, Литинституту, прошли Мордовские и «простые» лагеря, психушки, «кого уж нет, а те далече» (покоятся и на зарубежных погостах). Это борцы, но есть еще в диссидентстве «внутренняя эмиграция», к которой себя отношу. Мы остаемся в стране, делаем, что все, но мы не совсем «все». Есть у нас за душой свое такое, чем не поскупились ни при каких обстоятельствах. Мы не лезем в лидеры, не стремимся к «зияющим вершинам власти», успехов и славы, и в этом плане мы потерянное поколение. Но мы работаем на совесть, мы рады общим успехам и вровень со всеми переживаем общие беды. На нас можно положиться, нами, как и героями, сильна держава.

Моя книга о челябинском полвека. О негромких делах в нем моего поколения, моих знакомых, наиболее близких по сути своей и общим делам. Это и есть я в Челябинске и сам Челябинск в Двадцатом веке. Мое челябинское начало — Челябинский политехнический институт, ЧПИ, «политех», что вырос к новому веку в университет ЮУрГУ, мои первые челябинские друзья.

## **Я ступаю на челябинскую землю. Август-56**

В том, что я стал челябинцем, виновата медаль «За отличную учебу и примерное поведение». В школе заработал золотую медаль, о чем свидетельствуют золотые буквы в аттестате зрелости, а ниже однообразный строй отметок с хвостиком вправо. Как и царапина на самой медали. «Не все золото, что блестит!» — недоверчивый мой отец побросал блестяшку на ладони, на вес вроде тяжелая, попробовал на зубок, не поленился спуститься с уличной нашей верхотуры в Город (так в Златоусте называют центр) и зайти в «скупку драгметалла». Здесь удостоверили неверу-отца в подлинности моего золота, назвали пробу и цену по весу. Об анализе и свидетельствует царапина.

С медалью тогда были «нам открыты все пути» в вузы страны. Я решил осчастливить ленинградскую мореходку. «Мы мечтали с тобой об океанах, мы мечтали напрямик на Гавайи», — пел о таких Галич. Верный школьной мечте о морях-океанах, я поехал в заветное ЛВИМУ, что означает Ленинградское высшее инженерное училище имени адмирала Макарова. И что? Как уехал, так и приехал обратно — ни с чем, и мой золотой «сим-сим, открой дверь!» не помог. Там медкомиссия знаете какая. На приписной комиссии меня в подводники определили, значит, здоровее некуда, а здесь покрутили-повертели и обнаружили какую-то «известку» в ухе. «Вот если бы в механики, тогда еще можно посмотреть, а вот в штурманы...». Нафига мне в механики, это ж все плавание в трюме среди горячих железок. «Раскинулось море широко», где все расписано об этом, мы знаем. «Хочу на капитанский мостик!», — упорствовал я. «К сожалению...».

И вот не солоно хлебавши морской водицы «быстро лечу я по рельсам чугунным» через Свердловск, Челябинск в Златоуст.

Путь кружной, но очень уж напугала меня Москва пересадкой с Казанского на Ленинградский вокзал своей коварной суетой (говорили бывалые люди, что здесь почем, как лапшу вешают проезжим желторотикам).

В свердловском «ночнике» попал в купе с двумя такими же как я несостоявшимися морячками. Тоже не грустят. Их мореходки покруче моего ЛВИМУ, военные Дзержинка и Фрунзенка. Посмотрели они, как гоняют курсачей и «ах, мама, я хочу домой», по Окуджаве, так: «вот если б им ходить по суше, да только ленточки носить». Оба уже решили в местный «политех», оба челябинцы. «Давай тоже». «Так я ж и не думал вроде». «А что тебе год терять. У тебя медаль, подашь документы, в тот же день зачислят. Не понравится, на другой год переведешься, куда захочешь». А что, если и в самом деле «испыток не убыток», как говаривал отец в таких случаях.

И вот я в Челябине не пересаживаюсь на утреннюю электричку в Златоуст, а остаюсь до вечерней. А рань-то, рань, троллейбусы еще не ходят. Мои уговорщики не стали ждать первого, недалеко им, утопали. На прощание напутствовали: «Сядешь в троллейбус, спросишь, где ЧПИ, от остановки недалеко...».

Этот свердловский «ночник» самый распоганый насчет сна поезд, даже если расположишься спать, не успеешь глаза сомкнуть: «Сдавайте постель, закрываем туалет». Вылезешь из поезда и, как дурак, ходишь до первого городского транспорта. С той первой челябинской спозаранки невзлюбил я этот «ночник». Фактически мы не спали, постель не брали, балаганили всю ночь, девчонки смешливые в соседях оказались, дело молодое.

Уф-ф, на вокзальных часах 6.00. Наконец-то «я в синий троллейбус сажусь на ходу». Спрашиваю про институт. Один говорит там сходи, другой — здесь. Не очень-то популярен, похоже, этот ЧПИ, мало кто знает. Послушался кондукторши: «Езжай до конца, на кольце всегда студенты сходят».

Слез на конечной, ничего похожего на институт. Лес с надписью на входе «Центральный парк культуры и отдыха». На виду одно лишь строение, с виду барак, правда, в пару этажей. Ташусь к нему. Явно, не институт, но авось отзовется какая живая душа, может, кто уже и проснулся.



Подергал, дверь заперта, однако за ней явный шумок. На- смелился постучать. Кулак отбил, пока дверь не залязгала и при- открылась. Баба, лицо распаренное, в фартуке грязно-мокром. И ни слова ни полслова, сразу в карьер: «Носит их ни свет ни заря. Жрут, прости господи, как пропасти ждут. Боишься, умрешь до открытия? Час еще...». Что это столовка, я и без нее уже до- гадался. В нос из-за бабы шибануло таким ядреным духом варев, что слюной подавился. Не успел слова выдать с вопросом, дверь захлопнулась.

Что поделаешь. Стучать себе хуже. Если уж такого полкана спустила с лету, еще ошпарит чем. Я так и сел при входе на свой увесисто-фибровый чемодан от безысходности. Огляделся, рядом дорожка, даже асфальтированная. Куда-то же она ведет? И оказалось, почти куда надо. Скоро ли коротко, а показалось из-за заборов вполне даже солидное желтое здание, длиннющее, в этаж, но высотой на два-три хватит. За странной одноэтажкой, на самой опушке леса, в одиночестве тоже желтый, уже в несколько этажей, дом. У дверей вывеска «Общежитие № 1 Челябинского политехнического института». Но где же сам-то вуз? Неужели в этом прошедшем мною странном строении? Вокруг больше ничего, лес да пустырище не очень опрятный, схожий со свалкой.

Стучу, открывают на сей раз без особого кулачного боя с моей стороны. После продолжительного лязга в дверной щели обозначает- ся заспанная физиономия. «Абитура, что ли? — косится сонная личность на мою поклажу. Непонимающе хлопаю глазами. «Ну, поступать, что ли? Где направление в общежитие? Так зачем ты сюда приперся? Без направления комендант не примет. Тебе надо в институт...».

Помаленьку из его монолога (он ставит за меня вопросы и отвечает на них) обстановка проясняется, он дежурный на вахте. Институт здесь только строится, пока находится на Тимирязева. Назвал мне остановку. Чемодан можно оставить, если не боюсь, но лучше в камеру хранения на вокзале. До вокзала от института пару остановок, сюда переться в другой край города незачем.

Так и сделал. Пока выясняли, что к чему, прихожу на трол- лейбусное кольцо, дверь, из которой на меня полкана спустили, уже открылась. Голод не тетка, осмелел. На раздаче мне в одну

тарелку ливнули какого-то хлеба, пахнущего перекисшей капустой, в другую бросили что-то хлебно-мясное и две-три ложки мятой картошки. Чуть-чуть подкрашенный заваркой, но сладкий напиток налил в стакан сам. В столовках хлеб на столах, потому что Хрущев, сменивший Сталина, сделал бесплатно. Взяли с меня совсем ничего, копейки. В общем, червячка заморил и причастился к студенческим яствам. Где бы и когда бы ни едал я в студенческих за свою жизнь, они везде на один вкус, из чего бы не делались. Ну да тут уж не до жиру, быть бы живу. Не рестораничить в вуз поступают, а грызть гранит науки. Ох уж эта память желудка! Я и в новом веке, окажусь рядом с вузом, так непременно заверну в «обжираловку», полвека минуло, а все на раздаче как в то мое первое челябинское утро.

Я попал в знаменитую на многие поколения студенческой Челябинской столовки ЧИМЭСХа, в народе «сельхоз-навоз». Еще до войны здесь кормился мой дядя Федя, который жил в ихней общаге, потому что учился. Отсюда он, получив диплом, был распределен на подъем сельского хозяйства, но поднимал его мало, потому что настала война, и он вскоре попал в танковое училище. После скорострельных лейтенантских курсов командиром танка был отправлен на фронт и закончил боевой путь едва ли не в первом бою, завершив его фанерной звездой.

Ну а мой путь лежал пока просто в обратном направлении уже по проснувшемуся городу. Конечно, не Ленинград, но и не мое родное Златоустье. Одна улица Спартака, «прямая как стрела», об этом мы и в школе знали, чего стоит.

Повеселевший после столовки и облегчения от чемодана в камере хранения вокзала, слез я через пару остановок от него, спросил ЧПИ, первый же показал. Институт оказался с виду даже вроде знакомым. Совсем как моя родная златоустовская школа № 8 — Осьмуха, снаружи и внутри типовое школьное здание предвоенной поры. «Политех» тогда квартировал здесь на Тимирязева. Когда обрел свой корпус в конце проспекта Ленина, с которых разросся в целый городок, это вернули «наробразу» под школу № 11, ставшую лицеем.

Тесен мир! Мои ребята закончили именно эту Одиннадцатую школу, и вписаны в ее историю как хорошие ученики (младший

даже золотой медалист), общественники и не последние «ноушата» (научное общество учащихся), оба стали кандидатами биологических наук. Не менее удивительно и то, что и сам я возвращался сюда преподавать, уже как в знаменитый «гостевский» лицей № 11, зарабатывая на хлеб в безработные годы ельцинского раздрая.

Знакомый вестибюль, лестница, коридоры. Вот-вот зазвонит звонок на урок. Только будто все школяры — десятиклассники, есть ребята и повзрослее даже в солдатской и офицерской форме. Тогда Хрущев армию весьма и весьма прореживал, и лейтенантов в вузы поступало немало.

## **На специальность по новой технике**

Первая строка моей челябинской биографии писалась в кабинете директора «политеха» — Челябинского политехнического института. У меня вступление было не просто скоропалительно, а просто молниеносно. До последнего я колебался, на кого подавать заявление. Отец у меня в гараже, значит, надо бы по наследству на автотракторный факультет. Но в моем златоустовском поселке все взрослые работали на метзаводе, и с детства в нашу «душу, в поры входил таинственный металл». Уже в приемной комиссии решил я окончательно, на подоконнике написал заявление на Автотракторный. Буквально часа через полтора оказалось, зря я маялся с выбором. Парнишка почти моего возраста (обычно в приемную сажают преподавательскую молодежь) пролистал мои бумаги, запнулся на золотых буквах «Аттестата зрелости». Попросил подождать и куда-то ушел, оставив меня в продолжительном недоумении. Вернулся и сообщил, что в 11.00 мне надо быть на собеседовании у директора (именно так, ректором глава «политеха» стал именоваться, когда вуз обрел значимость, тогда же ее совсем не доставало).

Директор А. Я. Сычев был полноват, но в меру, пышноволок. Как положено, сидел во главе стола под портретом вождя (тогда Н. С. Хрущев). По бокам стола двое, схожие подтянутостью, моложавостью и многозначительной молчаливостью (за время беседы — ни слова). Сычев кивнул на пустой стул в торце стола. Пробежался по моим бумагам, передал двоим, те тоже задержались

на них недолго. Согласно переглянулись, и директор обратился ко мне.

Спросил, почему я подал на Автотракторный. Согласно кивал, когда я говорил об отце. Потом вдруг начал о сложной международной обстановке. «Хоть и потепление, но... Надо крепить обороноспособность социалистической Родины». Ну, кто против, нас не надо агитировать за Советскую власть. Партия сказала — надо, комсомол ответил — есть! Я ж не просто комсомолец, секретарем школьного комитета был. «Вот именно! Значит?» А значит, я должен сделать в нее свой вклад, где нужнее всего. «А нужнее инженером, — Сычев сделал многозначительную фразу. — По новой технике. Назвать специальность, сам понимаешь, не могу, но заверяю, что очень интересная и важная техника».

Оказывается, директор всем нам, собеседникам, говорил одно и то же туманно и многозначительно, по крайней мере, мне так говорили и другие медалисты. Отбор был особо строгий, из подавших заявление на все факультеты только медалисты и «хорошисты», ну и, разумеется, дотошная проверка по всем графам «Личной анкеты».

Собеседование с нами, «собеседниками», завершалось советом подумать и дать ответ. Мне — сегодня же. Я согласился. Думается, отказов Сычев получил немного, мы все тогда были «достойными продолжателями дела отцов и дедов, настоящими патриотами нашей социалистической Родины». Хрущевская оттепель только-только начинала подтаивать ледяные чертоги нашей веры. Впрочем, за этим уже вскоре дело не стало.

Так все-таки знали мы о своем предназначении, догадывались хоть о чем-то? Первые наборы, конечно, нет. Потому что тогда о ракетах, а предназначались мы именно в ракетные дела, поначалу вообще речи не заходило, поначалу планировались инженеры по артбоеприпасам. Наш набор был четвертым, при нас ракетность уже была определена, но никаких слухов еще о том не ходило. По крайней мере, в нашей группе никто ничего не знал, а знал, так помалкивал.

Я догадывался очень даже смутно, пока... Заходят к нам старшекурсники, вернувшиеся с практики в «ящик». И вот один из них, запомнил, потому что фамилия почти моя — Мосеев, взхлеб

пускается в рассказ. Нет, не о ракетах и заводе, а только о дороге, как туда ехали. Леса, озера, горы. Красотища! Меня и осенило. Так это ж они в мой родной Златоуст ездили, из Челябинска никуда больше из вагона таких видов нет — а точнее — в Новый Златоуст, Уржумку, на Шестьдесят шестой завод, откуда с начала Пятидесятых так громыхало, что через весь город на моей родной горе Татарке было слышно. На том заводе в войну разные огневые штучки-дрючки, в основном пулеметы, делали вместе с эвакуированными туляками-оружейниками, а после войны, судя по грому, начали оружие посерьезнее. У меня вот сохранился стишок той поры о моем поколении: *«Земля наша станет понятнее глобуса. Не будет загадочных тем. И мы поведем корабли фотонные в глубины планетных систем»*. С рифмой не ахти, но каково насчет космических кораблей! Догадывались, ох догадывались мы, на что нас готовят.

### **«Крещение картошкой»<sup>1</sup>**

*Дневник студента группы МТ-138 Челябинского политехнического института. Сентябрь 56*

*3.9.56. 6-е отделение Томинского совхоза, недалеко от станции Еманжелинской. Встаем в 6, сегодня кончали в 8 вечера, уже темнело. По утрам довольно холодновато. По ночам спать можно, еще не мерзнем. Поместили нас в коровник, правда, очищенный от коровьих следов. На лето коров переводят в летние лагеря — «летник». Коровий дух выветрился, на стены навели марафет, побелили. Пол досчатый с огромными щелями, похоже, мыли-скоблили, но отдает все-таки хозяйками. Нары мы сбивали сами, плотники нашлись, и я тюкал, в основном, не по пальцам. Сколотили выше пояса, чтоб с полу меньше дуло, по обе стороны от прохода.*

*Перегородили коровник пополам, половина — мальчики, половина — девочки. Нас примерно половина наполовину. МТ, то есть механико-технологический факультет, считается в институте*

<sup>1</sup> «Крещение картошкой, нулевой семестр» — обязательное участие в уборке картофеля и овощей после зачисления в студенты в советское время (студенческий словарь).

*чуть ли не самым женским. Здесь только в наших специальных секретных группах их мало, в нашей не то 5, не то 6. Половины окрестили соответственно Мужскор и Женскор, то есть Мужской и Женский коровники. Дали матрасники, набили соломой — жестко, зато дух «здоровый». Одежда дали, увы, не ватные, а солдатские покрывала, поэтому под утро мерзнем. Открыли для нас столовую недорого. Овощи, молоко совхоз выделяет почти за так, но платит за работу мизер, так что все проедаем.*

*Часов 9—10 вечера. Вообще-то, в клубе танцы. Не достроен, правда, стеклят только окна, но танцевать можно. Ушли «на скачки» немного, устали. Но и у нас не без музыки. Играет баян, кто-то прихватил, играют по очереди. Пока ко сну, кто уже и скорчился под своим солдатским покрывальцем.*

Именно там, на томинской картошке, наметились узы столь дорогого сердцу нашему братства по вузу, еще в пору студенческого младенчества, в средневековье именованного по-сыновьему благодарно и ласково «альма-матер» — мать, кормящая знаниями, духовной пищей. Для нас ей стал незабвенный «политех». У незнакомых еще, записанных по группам, которым и название-то мы еще понимать не понимаем: МТ-138 и МТ-139, у нас уже было общее. Еще какой-то месяц назад мы и думать не думали о том, что будем в них вместе. Этого просто не могло быть, ведь мы подавали заявления не то что на разные специальности, но и разные факультеты.

*6.9.56. Часов 6 вечера. Мужскор. На улице дождик, потому и «дома» пораньше. Все как обычно, были на овощах. Это вроде как тренировка, потому что главное наше поле боя — картошка — для сражения еще не готово. Не поспело. А я вкалывал по более высокой квалификации, мне доверили вилы. Мы с Геннадием Барькиным скирдовали солому. Утром заходит бригадир: «Кто вилы в руках держал?». Мы выступили, оба из рабочих поселков, он из Сима, а я со златоустовской Татарки, у нас многие коров держали, и мы с детства покосничали. Покосился недоверчиво, как бы вилами бока не пропороли городские. Мы не пропороли. Вкалывали не хуже местных.*

*11 сентября. Больше недели на подхвате. Солома, лук, моркошка. Наконец-то перебросили на основное — картошку. Давно*

*бы пора, но все доспевала, а пока не уберем всю отсюда, — не выпустят. Бывалые прикинули, что до конца месяца хватит под завязку. Надо бы побыстрее, все холоднее, дождливее, так и до снега недалеко. Дело поставлено серьезно, с точными обмерами выработки. Получается, мы идем на 104—106 %, так что не отстаем как другие группы. В группу народ старательный отбирали. Наши ряды немного поредели, кое-кто не вынес полевых работ, ночевок, которые все холоднее, списан в город по болезни. Наша группа без потерь, не сморкает. Вечерами стало веселее, кому-то привезли приемник, а то были отрезаны от большой жизни. Теперь ловим последние известия, концерты. Живут люди и без нас!*

*В группе привыкаем друг к другу помаленьку. По списку 25, здесь 15, остальные по разным причинам скосили. Причины, видно, очень уважительные, предупредили, что без «крещения картошкой» до занятий не допустят. Мы все со школы. Старик только один, его Димой даже называть неудобно, лет 25—26, вроде даже женат. Дима назначен в группу старостой, и по годам и по делам подходит. Приехал в гимнастерке и вообще во всем военном, уже линялом, выгоревшем, на плечах темные пятна от погон.*

Дмитрий Каленик был из сокращенных Хрущевым лейтенантов. Кампании, большие и малые, сменяли при нем одна другую. Каленик попал под очередную — сокращение численности вооруженных сил. Сокращали и в розницу и оптом: полками, дивизиями. Особо ополчился Никита-кукурузник на артиллерию. Ковался ракетно-атомный щит Родины. Потому и переспециализировались наши спецгруппы с артиллерийских боеприпасов на ракеты. Кто-то убедил Хрущева, что при ракетах «богу войны» делать нечего.

Каленик был из артиллеристов, и хотя над нами уже десятилетие голубело мирное небо, успел пострелять из орудий не на артполигонах. Когда Хрущев стал разоблачать культ личности, стали свержать с пьедестала «вождя всех времен и народов» (в народе «усатого дядьку»). В моем Златоусте так в прямом смысле слова за ночь свергли с пьедестала перед Сталинским райкомом партии, сменили и название. Грузины очень даже обиделись за это и стали проявлять недовольство по-кавказски, горячо и бурно.

Так шумно, что пришлось стрелять и вроде даже не в воздух, и даже из пушек.

Дима Каленик окончательно себя состарил в наших глазах, когда пригласил на крестины. Да, да, на втором курсе у него родился сын. И мы обмывали его появление портвейном, едва втиснувшись в комнатуху в коммуналке, и чувствовали себя взрослыми. Как же, наш товарищ по группе уже папа. Каленик был оставлен в институте, вел курс спецтехнологии.

Перейдя в газетно-книжные дела, я долгое время был далек от «альма-матер». Однажды встречаюсь по ним с тележурналисткой Каленик. Фамилия редкая, интересуюсь. Оказывается, Димина невестка, — супруга того самого мальшкки, с крестинами которого мы вступали во взрослую жизнь. С самим Калеником, Дмитрием Владимировичем и кандидатом наук я столкнулся в альма-матер, когда пригласили делать факультетские книги. Он бежал на лекцию. Совсем такой же, как был у нас старостой, ну может чуть-чуть пополнел, а вот седина на светлой голове совсем была незаметна. Мы еще не раз встречались с ним, но все на ходу. И все договаривались о встрече. Увы, как и жил, он ушел почти что на ходу, мы так и не сошлись в беседе.

*16 сентября. Мужскор. Не работали. Не потому, что воскресенье, — на уборке нет выходных. Как здесь говорят: «сактировали день по погодным условиям». Говоря по-русски — дождь, «нельзя в поле, ой-да, работать». Другой бы радовался: «небольшой дожджикка — лодырю отдышка». Конечно, хорошо поваляться, так ведь картошка-то с поля сама не соберется. А пока она там, мы будем здесь, города не видать как своих ушей. Так до снега проваляемся и все равно заставят из-под него выколупывать. Говорят, курсу до нас «повезло» вот так. Всего на нас навесили 140 га, а убрали еще меньше половины. Так что, как прикинул Владимир Иванович, бывший на картошке не одну страду, до октября мы можем дотянуть. А надо бы пораньше, семестр рассчитан с 1 октября, задержимся на картошке, придется догонять. Владимир Иванович — наш «классный папа». Оказывается, в институте, как и в школе, есть такие, только называются — «куратор группы». Между делом проговорился, что по специальности «по новой технике»*



*мы четвертый набор, а первый уже почти на выходе, скоро на диплом. На МТ-факультете мы не задержимся, скоро выделемся в свой факультет.*

Владимиру Ивановичу Есину, вошедшему в историю факультета, как одного из зачинателей и самого долговременного декана (19 лет), тогда было чуть больше тридцати, но он был в наших глазах вообще запредельным стариком, особенно когда узнали, что успел прихватить войну. Мы очень удивились бы, если б узнали, что он не так уж давно окончил Автотракторный факультет и к «новой технике» до нас не имел никакого отношения. Обычно атешников сюда назначали в «препы»<sup>1</sup> после окончания танковой кафедры, мол, тоже оборонка, легче новое оружие освоить. Малость по книгам нахватаетесь и сами будете учить. Дело знакомое, через десяток лет сам такое проходил.

Ну, а по общетехническим и образовательным дисциплинам нам назначали лучших преподавателей. Без преувеличения скажу, почти все они вписаны в историю вуза. Взять знаменитую в «политехе» многотрудную техническую троицу: термех — сопромат, теорию машин и механизмов (ТММ), значимость которой подчеркивала поговорка: «Термех сдал, можно влюбляться, сопромат — жениться, ТММ («тут моя могила») — заводить детей». У нас их вели Полецкий, Гохфельд и Бургвиц, все — политехнические светила, известные в ученом мире страны. Бургвицу даже мраморный бюст поставлен в вестибюле вузовской славы.

*19 сентября. Мужскор. О скором отъезде «старик оставь пустые бредни». Снова загорает на нарах, снова «сактированный день». Дождь. Обстановка унылая. Вообще, кое-кто уже пустился по воле волн. Постель не заправляют, по утрам не умываются. Как же холодно, даже иней выпадает, а на соседнем озерке у бережков ледок. Но у нас изо рта пар не идет. Ночью «вахтенные» непрерывно подбрасывают дрова. И сейчас тепло, можно без фуфайки. Но настроения нет.*

*А вчера совсем было настроились и вкалывали ударно. Но наши соперники МТ-139 обошли. Сегодня мы настроились обойти, да погода вот спасла их от поражения. Челябинцев*

---

<sup>1</sup> «Преп» — преподаватель (студенческий сленг).

*в группе немного, в основном из области, но есть издалека. Со мной рядом спит Лев (это у него не имя, это у него такая вот грозная фамилия), а звать Володя. Отец — майор, скитается по гарнизонам, а он поступил в ЧПИ, потому что в Челябинске родичи. Медалист. С другой стороны Коля Собко из Троицка. Простецкий парень: что думает, то говорит. Среди прочего, что отец у него настоящий Герой Советского Союза. Интересно, не врет? (не врал, проверял в справочнике, лицом схожи). В группе больше всего Борь — три. Один молчаливый, даже мрачноватый увалень, частенько берет двойной обед и осиливает, но почему-то нетолстый. Другой чуть ли не спит в кирзовых сапогах. Каждый день их моет и мажет какой-то вонючей гадостью, чтоб не промокали. Такой уж он основательный во всем, аккуратист. Очки, чтоб не спадали при работе, сзади на резинке, без них ничего не видит. У обоих отцы какие-то начальники на ЧТЗ. Еще один Боря из знаменитой Сороковки, где тщательно скрывают, но по секрету всему свету известны, атомные дела. Этот Боря черный как цыган, отчество Евтихиевич, но фамилия вполне русская — Дорофеев.*

Ракетам остались верны Собко и Боря-2 Осинин. Оба по распределению попали в макеевскую фирму да так и остались в миасском Машгородке, отдав морским ракетам — «оружию ужа-са», как их окрестили на западе — БРПЛ, то есть боевые ракеты подврдных лодок, всю трудовую жизнь. В биографическом словаре макеевцев Коля улыбается совсем по-студенчески. Он там заметный руководитель. А вот Осинина среди «заметных» нет. Небесталанный трудяга в учебе, он и в Машгородке оставался таким, удивляя своей суперосновательностью — и в КБ, и по жизни. В саду поставил дом-крепость, а под ним оборудовал погребнице, атомной бомбой не прошибешь.

Дорофеев по окончании факультета был брошен на усиление кафедры сопромата, так на всю преподавательскую жизнь остался сопроматчиком-прочнистом. Преподавал в самом вузе, защитил кандидатскую диссертацию и оказался в Миасском филиале. То ли на усиление был брошен, то ли что-то не склеилось.

Насколько Осинин основательный, настолько Боря-3 принципиальный. В первый же семестр был с ним случай на лабораторной

по химии, которую вел Александр Рябухин. Он большинству известен как альпинист — «снежный барс» и глава альпинистов «политеха» и Челябинска, и мало кому как видный химик-спец среди прочего и по ракетному топливу, доктор химических наук. Ну это потом, а тогда он только начинал с «зеленым» дипломом у нас свою химико-преподавательскую деятельность с лабораторных работ. Был предельно строг, но в данном случае строгость не при чем. Случилось вот что. Дорофеев что-то переливал из колбы в колбу, и вдруг звон стекла. Оглядываемся, а он на полу в луже реактивов. Рябухин привел его в чувства, он же как альпинист оказывать первую помощь умел. Вызвали «скорую», а назавтра Борис был на занятиях. Ничего страшного — обычный голодный обморок.

Это по врачебной терминологии обычный, но среди нас такого не было ни до, ни после. Жили нежирно, многие на стипендию, с первого по пятый курс проходили в одной вельветке. Без преувеличения скажу: эти куртки на молнии, желательнее из рубчатого вельвета, были для нас, парней пятидесятых годов, униформой. Это на фото тех лет очень заметно: в вельветках сплошняком. И дешево, и модно, и практично.

У Дорофеева отец в Сороковке был начальником цеха. Но он родительскую помощь отвергал категорично, мол, раз взрослый, значит должен жить самостоятельно. По себе знаю, на частном секторе на стипендию прожить было невозможно. Либо смири сыновнюю гордыню на помощь из дому, либо вкальвай-подрабатывай, овощная база — спасительница по соседству. Только подрабатывать было сложно, за посещением занятий следили по-армейски строго. Тогда у Бориса с подработкой что-то не вышло, вот и случился голодный обморок.

Дорофеев по жизни мне стал ближе остальных в группе. В Челябинске после вуза холостяками забегали друг к другу, и по-семейному сходились, он ко мне, я к нему в «Порт-Артур», жил он недалеко от кольца «КБС». В Миассе я у него, конечно, реже, но бывал. Была у него классная псина совсем неквартирной породы — дог, а вернее догиня. Она меня признавала, относилась снисходительно. Однажды приезжаю: что-то Мэри не приветствует, печальна, глажу, а она в розовых пятнах, таких заметных, что руку отдернул. Оказывается, ничего заразного. Хозяин ее отру-

гал, а у нее от переживаний экзема пошла пятнами. Была Мэри элитного окраса — «мраморная», почти белая. Заезжал я в миасский Машгородок, и когда Мэри свое отжила, а хозяин сам стал таким совсем «мраморным», сменив цыганский свой «позитив» на абсолютный «негатив».

Борис-1 Кудрявцев на наш «спец» пришел вслед за братом (тот шел курса на два впереди) а по окончании был оставлен в числе лучших на кафедре. Кудрявцев-младший повторил мою судьбу почти полностью, тоже «изменщик от инженерии», стал газетчиком. Он тоже закончил еще Литературный институт, стал членом Союза писателей и в энциклопедию «Челябинск» попал как «известный писатель». Позднее я с ним и общался по общим «словесным» интересам. Удивительнее всего, этот мрачноватый увалень поры «крещения картошкой» проявил себя в литературе как... юморист-сатирик, довольно остроумный и смехотворный. «Смехотворных» книг у него под десяток.

Владимир Лев изменил ракетам с атомом. Представьте себе, отрабатывая ракетный диплом, стал учиться на ядерщика. В конце концов, оказался в соответствующем институте Новосибирского филиала Академии наук. Насчет докторской не знаю, а потянул бы вполне, но что кандидатскую защитил, известно доподлинно.

*24 сентября. Умыться утром было нечем, в умывальнике лед. Протерлись одеколоном и в столовку. Идем, а вокруг порхают белые мухи, лужи хрустят под ногами. На фоне золотых берез очень даже красиво, но покопайся-ка при такой красе в земле. Нашей бригаде повезло, возили картошку с поля. Процесс уборки такой. Первой на поле выпускают косилку, она стрижет ботву под корень. Следом идет картофелекопалка по кличке Мацпура, так, видно, звали ее создателя. Песенная героиня! В нашей картофельной песне на мотив «Али-бабы» о ней поется: «И Мацпура весело бежит». Копалка выворачивает наизнанку кусты из земли, но картошку не обрывает и оставляет в грязи. Вот когда картофельный комбайн идет, за ним полегче, отрывает картошку от ботвы и от земли отряхивает. И полеживает она в рядку как на ладошке, ведро за минуту. И в контейнеры ее, что стоят вдоль рядков. Ну а мы вилами, на зубьях наваре-*

*ны шарики, чтоб не колоть картошку, отсюда в тракторный прицеп. Накладывали и на тракторе в овощехранилище. Это почти что развлечение по сравнению с копаньем в грязи.*

*28 сентября. Утром лед в умывальнике пролили кипятком и умылись, одеколоном всегда дорого. Трижды начинался снег, но землю совсем забелить не успевал. А нам жарко было, мы шли на рекорд. Дали больше всех — 120 процентов, но рекорд «тридцатдевятников» не побили. Они под началом «пана Лисовского» выдали 130. Досадно, времени побить не осталось, добиваем положенные 140 «гаков». Погода не подгадит, так пару дней, и «гром победы раздавайся». К началу занятий успеем, и нагонять не надо будет.*

## **Сплошной субботник**

Так и вышло. С погодой обошлось, а мы-то уж старались, надоело до чертиков. Совхозное начальство никак не хотело отпускать, нашему в ножки падало. Спасите урожай, мы уж вам! Наши ни в какую. Разнарядку выполнили? Выполнили. Те пошли на крайнюю — в свой райком, мол, воздействуйте по своим каналам. А у нас свой райком и дела в вузе, за которые он отвечает. В общем, наши ихних победили-вызволили, и в награду за ударный труд нас даже отдыхом на три денька премировали. Кто близко даже домой съездить до занятий успел, я в их числе. И кончился наш «трудоу семестр», нулевой по счету, потому что были еще и еще «трудоу», пока их не сменили летние практики. Но это не значит, что в учебные наши семестры не вкрадывались трудовые. Все они до дипломного проектирования были таковыми, учебно-трудоу. Сплошной субботник и воскресник.

Тут и объяснять не надо. Именно на наши семестры пришелся переезд «политеха» с тимиразевской «квартиры» в свой корпус. Здесь успели до нас лишь первое общежитие у парка по Коммуне и теплотехнический корпус с огромной трубой во дворе, ориентиром «политеха» на многие годы, и легендарной аудиторией № 103—106 на все случаи жизни. В будни это был спортзал, перед праздниками аудитория на неделю была расписана на факультетские вечера. Случались при этом и «чэпэ». На второе или

третье мое новогодье вспыхнула елка. Народ молодой, расторопный, потушили и без пожарных. Обгоревшее дерево без труда выпихнули через окно (там же они двухэтажные). Прибались на скорую руку и, как положено, завершили вечер танцами, без елки даже просторнее.

Когда дипломные проекты готовили, в дождливую погоду разминались в 103—106, гоняя футбол. Ну а как поставили главный корпус с актовым залом, теплотехнический поделили на два этажа и десяток аудиторий, в основном под лаборатории. Туда вселились со своими «изделиями» и ракетчики, куда их не пригласили в свое, «секретное» крыло Второго — Южного корпуса, построив во дворе под «учебные пособия» громаду учебно-ракетного корпуса.

Строительство вузгородка продолжалось больше десятилетия и после нас. На нас же пришлось главное, и на наших плечах поднялся главный корпус, увы, полное лицо он обрел лишь к своему 60-летию. Тогда подняли обрубленные Москвой при строительстве этажи и увенчали «башенкой» с золоченым шпилем. При нас возводить здания выше пяти-шести этажей Москва не разрешала.

Все пять лет учебы — сплошное новоселье! Особенно памятно первое на первом курсе, тогда сдали западное крыло, куда и переехал «политех» с Тимирязева. Потом было восточное крыло с военной кафедрой в цоколе, куда нас со второго начали гонять на «военку» — изучать танки. Потом строили общаги, второй корпус... Да разве все перечислишь в нашем студгородке, который вырос в число крупнейших в стране.

Новоселье, конечно, это праздники. Но как они нам давались. Субботники-воскресники, особенно перед «сдачей объектов» почти еженедельно. Весь строймусор (это же Эверест) прошел через наши руки и плечи. А ведь нас привлекали не только политехнические стройки. Ударные комсомольские стройки зашагали по стране, разве могли они миновать наш «бастион индустрии». Как же без нас. Перед сдачей «объектов» сплошные субботники-воскресники. Очень даже они поддерживали нас в хорошей физической форме и разнообразили семестровую текучку.

## Частный сектор «Зеленый рынок». 1956

«Частный сектор» — одно из первых слов, которым обогатил я словарный запас из студенческого сленга. Так в нем назывались квартиры, углы, которые снимали студенты. Первый свой «частный сектор» я именую Зеленый рынок. Есть такой в Заречье, вроде как для торговли зеленью. Ничего особо зеленого там я не замечал, всякой огородини не больше, чем где-либо, а всего прочего не меньше. И если уж что здесь в особинку, так ремесленные ряды. Здесь весь что ни на есть инструмент и, вообще, все, чем строить и ремонтировать, всякие запчасти «бэу», то есть бывшие в употреблении, всех машин, механизмов и приспособлений для дома и хозяйства. В основном, ворованое, чаще всего с садов.

Место моей первой челябинской прописки дома через три-четыре от Зеленого рынка. Это был добротный особняк состоятельного горожанина рубежа прошлых веков, четыре окна на улицу. В одной комнате проживала хозяйка неопределенного возраста. У старшей дочери сын школу заканчивал, судите сами. В соседней комнате другая дочка — голубоглазая хохмачка Нэлли, старшекурсная медичка, что позволяла себе нас смущать всякими подробностями организма и «взрослыми» разговорами. С ней квартировала товароведка Тамара, интересная нам тем, что носила «бо-ольшой секрет». Она работала на складе и совсем-совсем не простом, таком непростом, что о нем никто не знает. Тайну мы из нее вытянули-таки, где это. Склад и сейчас там же, и по-прежнему «бо-ольшой секрет», потому я о местоположении ни-ни. Скажу лишь, что проезжая на троллейбусе, взглядом на нем не удержишься. Склады и склады. Совсем небольшой величины, но под ними, по заверениям нашей легкой на язык сожительницы, целый подземный город. Будто как в шахтах там электровозы с вагонетками ходят, столько грузов. Потому что съестной запас чуть не на месяц на весь Челябинск, а может, и область. Можно представить! Есть все абсолютно. Условия хранения очень строгие, на каждую пищу свои градусы, своя влажность, свои сроки. Пришел срок, заменяют. А запасное куда? Да в торговлю, в общепит, в основном, в солдатский рацион. Оно же все еще очень даже съедобно и свежо выглядит.

Третья комнатка угловая с входом из кухни — мужская квартирантская. Две койки, проход к тумбе у окна вместо стола, во сне дрыгнешь ногой, пнешь сожителя.

Двор просто огромный, на завершении всякие «старорежимные» строения, скотинки нет, потому пустующие. Посреди двора даже пара грядок под моркошку, лучок, иную столовую зелень. И огромный, пахучий цветник, вечером голову кружит от всяких ночных фиалок и душистых горошков. Даже свой колодец, как не помнить. Выкаблучиваясь перед товароведкой, делал стойку на руках. Ну и как в песне: «Еще немного, еще чуть-чуть»... Свалился наполовину в сруб, спасибо товароведке, успела за ногу ухватить.

Моим сожителем по частному сектору «Зеленый рынок» стал Геннадий Шматко из параллельного класса нашей школы. Он поступил на металлургический факультет, пошел по линии родителей, изобретавших спецстали в знаменитой на всю страну ЦЗЛ — лаборатории нашего метзавода. Они загодя сняли ему угол, оказался на две кровати, одну и предложили мне. Кому как не мне, человек знакомый, не раз к ним заходил по учебе. Собирались у них и на сходки «Оазиса». О-о! Наше школьное литобъединение при нас, да и после гремело на весь город, чуть ли не большинство златоустовских литераторов вышли отсюда. Ведущие у нас Петр Серебряков и Володя Черноземцев были д-р Лом-Дуролом и Крошка-Прошка. Я в «Оазисе» был Дыбовласов, Геннадий — Ако. По созвучию со своей «украиньской» фамилией выбрал он псевдо-кликухой именование крабовых консервов. Это сейчас они деликатес, а тогда считались гадостью. В самую голодуху на полках шаром покати и красуется лишь пирамида жестянок с розово-голубыми клешнями.

Жить с Геной-Ако было, по-современному, так коммуникабельно. Конечно, интеллюлю, маменькин сынок, но совсем простецкий и безобидный. Главное, на приколы не обижался, понимал даже мои шутки, что далеко не каждому дано. Очень немаловажно в тесном общении, когда во сне пинаешься. Столовались мы общаком, в основном, чайком по вечерам. Мой вклад, что из дома привезу, разные витамины огородные, в основном, картошечка-моркошечка и «цо» — сальцо да яйцо. Как-то вез я хрупкий



витамин «цо» да в электричке, спасаясь от ревизоров, потюкал. Витамин разбился, но не вытек, и мы чуть не месячную норму (в день — яйцо) «развитаминили» за пару дней (холодильников тогда не было). Долгонько после того нам этот витамин «цо» на дух было не надо.

На второй курс я съехал с «Зеленого рынка» к ребятам из группы в «Бульчевку» на берегу Миасса. Гена же съехал года через два-три к родителям. Нет, он не перевелся в образовавшийся к тому времени Златоустовский филиал «политеха», просто родители разменялись в Челябинск, продолжив свои металлургические занятия в открывшемся НИИ металлургии, тогда много цэзловских с нашего метзавода сюда перевелись. Окончив альма-матер, Гена присоединился здесь к ним, удивив меня примерно в то же время и совсем не этим.

Моя соседка по татарской (поселок по горе звался Татарский) улице в Златоусте — Мага (а еще Рита, Маргарита по паспорту) — окончила Златоустовский филиал «политеха» по металлургии и на нашем метзаводе стала инженерить. Приезжаю на побывку из своей забайкальской «геологии», а Мага — Рита-Маргарита переехала в Челябинск, оказавшись в том же НИИ металлургии, где все Шматко. Вернулся после отработки диплома, а она уже тоже Шматко.

В НИИ металлургии младшая чета Шматко, как и старшая, изобретала всякие хитроумные спецмарки сталей, в том числе и самые-самые секретные — космические, ракетные и атомные. Оба по своим сталям защитили кандидатские диссертации. Об их секретной работе я много что узнал, помогая «работать» книгу их руководителю, корифею по микролегированию с мировым именем Я. Е. Гольдштейн. О Маге-Рите он говорил больше, она была более заметна, а Гена, человек негромкий, и у него особо не выделялся. Шел уже рубеж веков, и жили они на Северо-Западе, внуков имели от двух дочерей.

Нет, мы не знались семьями, интересы совсем разные, у них — в металлургии, у меня — в газетчине и писанине, да квартиры далеко друг от друга. Встречался я с Геной совсем неожиданно. Вдруг мы оказываемся на одной офицерской медкомиссии, в советское время запасников время от времени проверяли на

здоровье. А то иду в конце проспекта Ленина, где альма-матер, уже ЮУрГУ, разросся в целый городок, впереди неторопливый прохожий. Что-то знакомое в фигуре, заглядываю в лицо. Он и есть, Геннадий Шматко — мой одношкольник и сожитель. В очках светлеют близорукие глаза, поседел, полысел, пополнел, но не до неузнаваемости. «Ты, Ако, куда?». «Я сейчас экологию (!) в университете веду, жить-то надо». Ельцестройка среди прочих НИИ придушила и металлургический. Мага на пенсии на внучат ушла, а он вот подрабатывает. «Но причем тут экология, ты же металлург?». «Так ведь экологически чистым производством и безотходной технологией я и в НИИ занимался».

Последний телефонный звонок был от него, а вернее с его квариры: «Узнаешь, кто?». «Узнаю, д-р Лом, небось, и сейчас чубчик пальцем накручиваешь. Хорошо слышно, будто рядом. Хорошая связь сейчас с Москвой». «А я и есть рядом, в Челябинске». «Ты где остановился?». «Да у Генки с Ритой. Приезжай, мы вот пельмени лепим. Володя (то-бишь Черноземцев, из наших, как и Серебряков, все мы из «Оазиса») обещался быть». Не поехал, как всегда, отговорился чем-то из «некогда». Тяжел стал на подъем, если честно, а еще вечное русское «авось» на все случаи жизни. Авось, еще свидимся, гора с горой не сходится, а человек с человеком... Звонок больше не было, оттуда некому мне стало звонить.

## **Мы поем «Бориса Годунова»**

Вспоминать, как труден был первый курс — совсем не вспоминать. Так трудно, что и не вспоминается. По мне так это инстинкт самосохранения, самозащита от душевных инфарктов. Ох уж эти начерталки, физики-химии-математики, мне и в школе были они тоска зеленая, мозговой напруг, а тут «на вузовском уровне». А черчение, от одного ватмана шрифтов волком вой. В туши! То клякса, то не по ГОСТу, и скобли бритвочкой до дыр. Принесешь на просмотр, а «преп»: «Ты что мне сито принес. Переделывай!». Были, были поползновения, плюнуть на все и уйти хотя бы в «академку»<sup>1</sup>. Лишь комсомольское звание («если тебе комсомолец

<sup>1</sup> «Академка» — академический отпуск, освобождение от занятий на семестр и более по уважительным причинам.

имя, имя крепи делами своими», да татарско-поселковая упертость (татарские не сдаются!) удержали от заявления.

Семестры еще ладно, «препы» сеют в нас «разумное, вечное, доброе» с кафедры, а ты хошь пиши за ними, хошь читай, хошь в игры подходящие играй или просто дремли-посапывай. Дремли, но помни, сессии не миновать, и тут-то «преп» уже не сеет, а полет-корчует хилые всходы. Известно, что «студент — объективная реальность на поверхности науки, опускающаяся в ее глубины дважды в год — на сессии». Дело это очень опасное, нырнул и не вынырнул. Недаром в известном студенческом перепеве «Раскинулось море широко» горько признается: «В науке без жертв не бывает. А синуса график волна за волной по оси абсцисс набегают». Что берeditь память былыми невеселостями. Настроимся на воспоминания по песне: «От сессии до сессии живут студенты весело», а сессия всего два раза в год. Даже в самую мрачную пору первокурсья остались проблески, памятные на всю жизнь.

Не успели мы от «крещения картошкой» отойти, руки от цыпок чесать, первые лекции записать, а нас уже слепит дворцовой роскошью, восторгает звуками и красками сцены театра оперы и балета. В конце сентября «вступил в строй» премьерой оперы «Князь Игорь», а в начале октября заморозил балетом «Лебединое озеро». Как же без нас! К культуре нас приобщали всеми силами. Билеты в драму и оперу завсегда, а абонемент на симфонический оркестр в филармонию чуть ли не за так и добровольно-принудительно до проработки в комсомоле за пропуск концертов. Все равно что-нибудь придумывали, чтобы пропустить... Ну а опера и балет интересно. Там на сцене такое творится, даже без спектаклей концертов, побывать завидно.

Были-бывали мы в опере и без спектаклей. Там самые большие торжества, конференции стали проводить и смотры художественной самодеятельности. Кто как, а я оперу тогда познал до закоулков, даже закулисье. Хотите верьте, хотите нет, но я даже со сцены пел, самому не верится, но пел. В сводном хоре «политеха». Главный хормейстер оперы Юрий Петрович Борисов стал им руководить, и мы под его началом выступали на смотрах и концертах. Что там выступать, случалось он на репетиции там собирал. У нас в «политехе» тогда помещений для спевки не находилось. Четыре

партии, по 20—25 голосов, это ж на сотню певцов найти надо, а мы лишь строились. Да и удобнее ему было не тащиться к нам, а по месту работы.

Прочитав объявление о наборе в хор, я конечно же, записался, посчитав себя подходящим. Как-никак, опыт имел, пел в школьном, и хор нашей Осьмухи (школа № 8) под началом «пана Глембовецкого» на городском смотре побеждал. Прослушивал сам Борисов и с внутренним моим мнением согласился, указав подручной (по оперному хору тоже) записать в баритон, уточнив, что я «драматический». И стали мы спеваться, по ходу отсеиваться и пополняться до нужных размеров партий.

О спевках-тренировках не буду, скажу только, что мучил нас Борисов профессионально да еще посыпал душевные раны от словесных побоев солью с перцем. Язва не последняя! Но до чего ж интересно слушать, когда чихвостит, конечно, не тебя. И эти бесконечные историйки, заходы в мир литературы и искусства. Он пересыпал ими рабочий процесс через слово. Я так записывать стал, и именно они открыли мои запкнижки «Веселинки-озорники-охалинки». «Железная старуха Марьета Шагинян — искусственное ухо рабочих и крестьян». «Литературе нужен Ардов, как писсуар для леопарда». «Искусству нужен Г. Мдивани, как ж... острый гвоздь в диване». «Демьян, ты мнишь себя уже почти советским Беранже. Ты правда, «бе», ты, правда «же...», но вот и все от Беранже». Хватит, мы же о хоре.

Борисов имел обыкновение заниматься нами, не глядя, шастая глазами по сторонам. Но стоит сбиться, он «перед тобой, как лист перед травой». Хлоп в ладоши для общего молчания и хлесть словесным хлыстом.

Долго ли коротко, вытерпели-осилили мы под его чутким началом хоровую обязательку вроде «Дети разных народов, мы мечтою о мире живем, в эти грозные годы мы за счастье бороться идем...» и «Студенты Урала, богат наш край родной...», без чего на смотры не выпускают. И вот приходит наш хормейстер на спевку весь из себя торжественно-многозначительный. Спешно скомкав распев: «И-и-и, а-а-аа!», почему-то вспомнил случай из Большого театра, да-да первой оперной сцены страны! Случай оказался из «Бориса Годунова», по которому он устроил беглую экзаменов-

ку. Оказалось, мы сведущи в тексте, то есть оперному либретто. Кто-то даже вспомнил, как Пушкин, написав про Бориса Годунова, как у него «мальчики кровавые в глазах», так обрадовался и что в запале даже зачем-то обозвал себя «сукин сын». И на счет истинной народности музыки Глинки оказались мы в курсе. А случай из оперы в Большом театре заключался вот в чем: *«В “Борисе” в одном акте выезжают на коне Мурзике. Конечно, мерин дрессированный, знающий как вести себя, все сценические правила приличия. Выедут на нем верхом, он доведет, куда надо и замрет, ни гу-гу. Споят положенную на нем арию, он назад за кулисы свезет. И чтоб взбрыкнуть, заржать на сцене, никогда. Несмотря на благовоспитанность, Мурзик лошадиных природных слабостей не был лишен. Сахар обожал. А после сахара у лошадей, имейте в виду, наступает недержание. Ну а один пакостник и использовал слабость Мурзика, взял да побаловал его рафинадом перед выходом на сцену. Коню как раз и хватило удержаться, чтобы довести всадника до места солирования. Тот только затыкнул свою коронную арию, а Мурзика и хватил яблокопад. Конфуз великий! В правительственной ложе возмущение, в дипломатических — ехидство, дамы в зале в платочки уткнулись, мужики в хохот...»*.

Мы уже знали, про «Бориса» он наверняка неспроста. Неужто на «Бориса Годунова» замахнулся? О чем и было объявлено во всеуслышание. После психологической подготовки, мол, не боги горшки обжигают, последовало ознакомление с «Борисом». Борисов исполнил чуть ли не всю оперу — и хоры, и арии, причем по голосам от меццо-сопрано до баса-профундо. Такой у него оказался вездесущий голос, где до него всемирно известной всеголосой латиноамериканке Име Сумак.

Просветив насчет «Бориса Годунова», Борисов остановился на том из его хоров, что обличает царя и его приспешников от лица народа, который, как известно, главный герой оперы, за что она и стала первой истинно народной русской оперой, как сказал один из современников композитора. *«Борис по-воровски престолом царским правил. А он у вора ворова-а-ал. За то и честь ему... ве-ечная!»*. Проигрыш борисовой подручной на пианино.

И величальная, но... «Как можно больше ехидства», — озадачил Борисов: «*Слава боярину, слава Борисову! Слава!*».

Судя по желвакам на скулах Борисова, с ехидством мы не справлялись. И пошел хлестать, хочешь не хочешь, а наладились, кстати, стали представлять что мы о нем поем. Кивнул подручной утвердительно и перешел в другие хоровые закоулки. В общем, отшлифовал нас с хором, недаром говорят, щелкай зайца по голове, на барабане играть научится.

Наше умение вдохнуло его еще на одну хоровую цитату, уже из другой оперы и тоже ехидную: «*Ходит ветер у ворот, у ворот красотку ждет. Не дождешься, ветер мой, ты красотки молодой. Ай-люли! Ай-люли!*». Дальше насчет ветренности этой красотки: «*Дунул ветер, и Авдей полюбился больше ей. А подует третий раз, и полюбится Тарас. Ай-люли! Ай-люли!*». Такая вот ветродуйка-героиня этой оперы. Какой, не помню, горько мне вспоминать занавес нашей хоровой карьеры.

Весело и дружно отхватили мы с Борисовым первое место на областном смотре, кто бы сомневался. Дальше больше. Намечался какой-то международный фестиваль молодежи, и нас запрочили на него. Спевки-репетиции настигли белого каления, наш хормейстер, наверно, оперный хор забросил ради нас. Как же, и ему, современно, так «пиар». В конце концов устроил нам строжайшую переэкзаменовку, и всех, в ком сомневался, отшил. Я переволновался, и меня тоже. Не обидно ли, мучал, мучал и в зад коленкой. Был бы человеком, так оставил, я б только рот раскрывал, никакой опасности.

И все-таки посыпало мою рану маленько сахарком. Без меня хор куда не поехал. Отправители рассмотрели отправку с классовых позиций и отправили вместо нас танцевальный ансамбль Дворца ЧТЗ, мол, представлять индустриальный Челябинск лучше рабочему коллективу. С одной стороны сахар, а с другой стороны соль на рану, я уже стал наработывать к «политеху» патриотические чувства. А каково было остальным хористам. Борисовы так обиделся до такой степени, что забросил хор, а что он без него, хор распустили.

## Политбой на сцене «Политеха». Декабрь-56

Самое яркое мое впечатление начала студенческого десятилетия, во многом сделавшее меня таким, каким я стал, в конце концов и жизнь прожил — комсомольское собрание первой моей студенческой осени, а, может, и не собрание, а просто одна из модных в хрущевскую пору встреч партийных боссов с молодежью, разумеется, комсомольской. Вот и у нас в «политехе» в самом просторном на тот год помещении комсомольский сбор с президиумом, где по соседству с председательствующим секретарем институтского комсомольского комитета Герой Праздновым глыбой значится сам секретарь обкома партии Михаил Сергеевич Соломенцев, видный, плотный, но отнюдь не толстый мужик, особенно приметный подле худушего институтского секретаря.

Все шло по заведенному плану. Празднов, вошедший в институтский фольклор, как отрицательный герой гимна АТ-факультета, который пелся на мотив арии Дон Кихота из одноименной оперы: *«Все уважают факультет наш в институте, ведь есть у нас такой вожак, как Валька Путин. И Вовка Батраков всегда за фак готов. И только Г. Празднов лишь воду мутит»*. В этих строках обида на несправедное поведение секретаря, который при подведении итогов разных соревнований, смотров и конкурсов голосовал далеко не всегда, как надо, с точки зрения атэшников. Потому, и не с именем он в гимне, а инициалом Г., понятно, тонкий намек на толстые обстоятельства. Валька Путин — факультетский секретарь, а Батраков — моторный парень, заводила во всем и вся, среди прочего бессменный руководитель знаменитого мужского хора АТ-фака.

Соломенцев, что называется, «присутствовал», всем своим видом являя отеческую заботу партии о комсомоле, с подчеркнутым вниманием повернув в сторону выступающих сильное, темное от полнокровия лицо. Иногда обменивался словом с Праздновым, как с равным, и одобрительно двигал ладоши в заключение каждому выступающему. Все шло по обязательке — скучно и неторопливо, без сучка и задоринки. Зал был занят своим, более интересным: кто дремал, кто читал, кто играл в «балду» и иные, доступные в данных обстоятельствах игры. Кажется, только пре-

зидиум из-за близости к Соломенцеву слушал трибуну. Трибуна привлекла всеобщее внимание, когда на нее поднялся секретарь первого курса металлургов Ващенко.

Конечно, я упустил, с чего начал говорить металлург — сражался в «морской бой», а враждебный адмирал оказался способнее Нельсона. До того ли, мои корабли пускали пузыри один за одним. О том, что Ващенко занесло куда-то не туда, я уловил по лицу Соломенцева. Невозмутимое, оно стало темнеть еще более. Я разул уши на ващенкову речь и понял, что он говорит о венгерских событиях, но совсем «не осуждаем-с» как все, то есть совсем не в ту сторону. Праздно завертелся на своем стуле, кривясь в сторону Соломенцева. Тот молчал, коричнево окаменев, и Празднов не прерывал Ващенко. Со слов оратора оказывалось, что наше «вмешательство во внутренние дела суверенного государства — прямое нарушение международного права». Он осуждает гегемонские притязания нашего государства и не видит разницы между сталинской внешней политикой и нынешней. Хрущев лишь на словах борется с последствиями культа личности. И он очень рад, что *«наконец-то страны Восточной Европы стали обретать самостоятельность, и Советский Союз лишился одного из своих сателлитов»*. На этом Ващенко и кончил.

Суверенитеты, гегемоны, сателлиты... Я еще не знал тогда таких слов, да и другие, похоже, тоже, но всем стало ясно, что Ващенко нес отсебятину да такую, за какую по головке не погладят, мягко будет сказано, даже при последовательном борце с «культом личности». Кое-где жиденько захлопали, думается, не в поддержку Ващенко, а скорее спросонья, по привычке — раз кончил говорить, надо хлопнуть. Празднов вскочил и опалил зал таким испепеляющим взглядом, что даже мне, чьи руки были заняты куда более безобидным действием, стало зябко. Ну, а Соломенцев, что же секретарь обкома? Празднов и другие члены президиума уставились на него, как в сцене из Гоголя при словах «К нам едет ревизор!»

Соломенцев? Нет, он не заорал на вопиющую наглость Ващенко, даже не повысил голоса. Он просто-напросто повел с ним разговор на венгерскую тему, отечески убеждая в классовой неправоте. Ващенко отнюдь не стал проявлять сыновнее послушание — при-



знавать свою неправоту. Ох, и наглец! Соломенцев ему слово, он ему два. Соломенцев ему о решениях партии и правительства, тот его наотмашь цитатами из трудов Ленина и Маркса. А это же удар ниже пояса. Вывел-таки из себя, сорвался секретарь, кричит: «Этого у Маркса нет!». А Ващенко спокойно его относит к тому такому-то, статье такой-то, чуть ли не страницу называет. Такая наглость! Заранее, выходит, подготовился, надергал цитат.

Позднее, входящий в диссидентские застолья в Литературном институте и «кухонных беседах», слышал я и похлеще, но в узком кругу, среди своих. Тогда же услышал подобное впервые, и просто ушам не верил, что возможно такое — вслух да при всех. Первая диссидентская царापина в юных мозгах и неокрепшей душе, только что вырвавшихся из надежных комсомольских школьных затворов.

Никто не сомневался, что Ващенко несдобровать. Хотя и вождя всех времен и народов тягают уже из мавзолея, но с такой наглостью прямой путь в контору «Вась-вась» — на улицу Васенко, где понятно кто и зачем. Однако Ващенко уцелел. С секретарей его, правда, «ушли», из комсомола — не знаю, а вот институт закончить позволили. Потом? Потом он даже пошел по партийной линии, писал про него в газету.

Соломенцев же вошел в советские энциклопедические справочники, как видный партийный и государственный деятель. Заслуженно вошел — высшим эшелонам власти он отдал не одну пятилетку, закончив на высших постах на Старой площади. Откуда, как известно, на пенсию уходят лишь при «особых обстоятельствах». Думается, при исключительной порядочности и безупречной исполнительности, они бы его не коснулись. И прямой бы ему путь из служебного кабинета через крематорий в кремлевскую стену, но он пережил советско-партийные времена, как и обычай — муровать прах «самых-самых» в эту самую красную стену.

С той самой сшибки я стал уважать Соломенцева. Что бы ему ни расправиться с наглецом Ващенко? Он же антисоветчину порол, за какую вчера еще при усатом дядьке «вышку» давали. Сопляк на его авторитет, авторитет партии руку поднял, наши неокрепшие души развращал. Стоило Соломенцеву глазом моргнуть, а он ничего.

Соломенцев вскоре ушел от нас. Нет, его не сняли за либерализм, а перебросили в Караганду выправлять положение. Там перед тем великая буча произошла среди шахтеров и эков. До Москвы и Старой площади он успел еще навести порядок в Ростове-на-Дону после известных кровавых событий в Новочеркасске, которые тогда преподносились как «продуктовые беспорядки». Партия его не раз бросала на «трудные участки», и он успешно выправлял положение.

### «Аквариум» Эге

В самостоятельной жизни долго мне было, по-современному, так дискомфортно. Как всякий русский человек я долго и переживательно «запрягаю» — вхожу в новое дело-образ, а тут целая новая жизнь. Потому и в первокурсье я чуть что на электричку и в Златоуст — погреться в тепле отеческого крова, пройтись по истертым за детство-юность-отрочество улицам-проулкам, заглянуть в родную Осьмуху, по-современному, «перетереть» с друзьями-приятелями, что остались и слетались, как и я со своих учеб. Местом сбора близкого круга — оазисцев был «Аквариум» — комнатка нашей оазисной «мамы» Эге и в ясные летние вечера в садике «Динамо».

Из учителей в «Оазисе» была только Эге. Сама напросилась. По школе она была учительницей немецкого языка Гертрудой Рудольфовной Эрбе. Такую «немку» поискать. Пять лет от нее плакали, мало что строга, она еще «тысячи» заставляла сдавать, как в вузе, иначе выше тройка не рассчитывай. Что «тысячи», она заставляла зубрить немецкие стихи и переводить их в стихах, причем всех подряд. Как же, переживал, иной двоечник лучше меня переводил. Не оставила нас в покое Эге и в «Оазисе». Общество тайное, даже из ребят ни души не знает, и вдруг получаю на уроке «дойч» тетрадь по домашнему заданию после проверки Эге, а в него вложено письмо:

*«Многоуважаемые члены тайного общества «Оазис». Я взрослый и даже пожилой человек, более того, учительница, но тоже пишу стихи. Прошу рассмотреть на одном из ваших заседаний вопрос о приеме меня в члены общества. Могу быть полезна советами из жизненного опыта, который накоплен за*

*долгие годы, а также в оформлении вашей нелегальной газеты «Кактус». Судя по ее виду, художников, по крайней мере, моего уровня, среди вас нет. Обязуюсь в случае как положительного, так и отрицательного решения моего вопроса свято хранить тайну общества, соблюдать устав, заниматься оформлением газеты и не вмешиваться в вашу творческую жизнь. Согласна быть членом общества и с совещательным голосом. Мой псевдоним вам известен.*

*Эге».*

Могла бы и не подписываться.

Ну тут я, как поется в одной одесской песенке «как сел, так окосел». Совсем как тот дядя Зуя из известной одесской песенки, очень популярной в нашей полублатной Татарке, когда ему сказали, что «Маруська, бздыхалка такая, идет с облавой гэпэу» и уже не выдать ему дочку «за Ваську скобаря-буржуя». А вы бы на моем месте не «сели-окосели»? Это ж полнейшее разоблачение. Засветились как при солнышке на безоблачном небе с нашим тайным «Оазисом».

Делать нечего, предъявил заявление Эге на очередном тайном сборище. Говорить не стоит, понятно, что тут началось. Прежде всего, кто проболтался, кто заложил? Мне прежде всего «предъява». Как же, не кому-то иному, а мне заявление. Вот и доказывай, что ты не верблюд, еле доказал, отвяли-таки. Затем долгая дискуссия, как быть с Эге. Все равно знает уже и слово дает, а художников у нас непроханже и в самом деле, а она в «Школьной правде» и «Шпильке» рисует что надо. А может, это «крысу» нам запускают? Разведает все про все, послушает, кто и что и гори мы синим пламенем с компроматом из первых рук. Да вроде совсем это не ее игры, мы ж ее знаем. А не примем, обидится и все равно заложит, ведь знает же что-то, меня-то вычислила.

Куда деться, приняли, правда, для начала с совещательным голосом. И не прогадали. Слово свое она держала неукоснительно, ни разу не нарушила, и в нашу творческую жизнь не вмешивалась, и житейскими советами, особо не назойничала. Помимо живописного вклада оказалась от нее еще одна немаловажная польза. Обрели мы еще одну удобную, надежную «крышу», которая стала вскоре главной.

Жилье ей незадолго до того дали, лишь комнату в коммуналке, так скажи и на том спасибо. Строить-то после войны только-только начали, правда, споро и много, в считанные годы всю Карла Маркса заставили четырех-трехэтажниками. Они и сегодня симпатично выделяются в златоустовском жилом многоэтажье — штукатуренные, беленые с лепниной, невиданной потом десятилетия с хрущевской борьбы с архитектурными излишествами. С «хрущевками» — это ж небо и земля. Много-много чего тогда понастроили, та же Карла Маркса ведь при царе называлась Долгой, но все равно очередина на жилье малозаметно поубавилась, и многодетным на комнату столько ждать, что получить подойдет, дети уже вырастут и разлетятся. А Эге одна, вроде был муж до войны, но не успели с детишками. В войну ее в Сибирь, как всех других ее крови, выслали, а отсюда уже к нам позволили выехать. Муж, вообще, сгинул и чуть ли не к гитлеровцам перешел. Ну да мало, что говорили, скорее не перешел, а просто погиб, если на фронте не успел, попал в трудовую армию, так здесь. Так или эдак, но в Златоусте Эге уже ценили, если среди немногих учителей заслужила комнату. Причем на той же Карла Маркса у самой трамвайной остановки, третьей от школьной, это же совсем недалеко. Учили, что ходок она совсем никакой. Пацанва еще Черепахой ее дразнила, а прочитавшие про Буратино — Тортилой. Ноги угробила на спецпоселениях и не только, вся болезнями сплошь пронизана, иной раз всю четверть в больнице ее навещаем. Первый этаж у нее, потому и куда как удобно ей и нам. С улицы тук-тук в окошко, она обозначится за стеклом, ты в обход дома к подъезду со двора, она же за это время успеет к входной двери доплестись.

Комнату Эге, штаб-квартиру «Оазиса» мы называли «Аквариумом». Всю свою комнатку от пола до потолка она густо обвила живой зеленью, и по всем стенам плавали разные рыбы и прочая научно, так «аквафауна», исполненные хозяйкой так досконально-натурально, так бы удочку и забросил.

Не знаю, как терпели наши сборища соседи Эге, ведь мы, хотя и только чай гоняли, но были и при них шумные, беседы вели на повышенных. Поэзия кровь горячит похлеще градусов. Оглядываюсь в «Аквариум» и краснею. Крепко ударяли мы по благосостоянию Эге. Чай нам выставлялся не пустой, обязательно к нему да

что-то подавалось. В «красные праздники» выставлялись и торты, исполненные хозяйкой в добрых традициях немецкой «кюхен». А ведь нежирно, совсем бедно жила Эге, тогда учителям платили ненамного больше уборщиц. Во все мои школьные годы уж не в одном ли платье проходила она. Серого, сурового полотна, безо всяких «архитектурных излишеств», самого что ни на есть простецкого покроя. Воротнички вот только, манжеты, менялись едва ли не каждодневно. Да брошей, дешевеньких ребячьих подарков, к Международному женскому дню было богато.

Эге, между прочим, первая женщина, которой я сделал подарок и сразу же убедился, сколь деликатно это дело. Копался я тогда, копался в ширпотребном искусстве, выбрал и оказалось, «лучше выдумать не мог». По ветке из рога ползет пластмассовая улитка. Я почему на ней остановился, ведь любит же Эге рисовать флору и фауну. Поблагодарила она, как обычно, не меняя нейтрального выражения лица. Попробуй пойми по ее всегда сонным оловяшкам, в радости она или обиде. Оказалось, обиделась. Нескоро я это заподозрил, замечать стал, как оловом взгляда и словом в общем разговоре она обносить меня стала. Пораскинул мозгами, за что это, и допетрил, она же в той улитке усмотрела намек, что ползает она не быстрее улитки. Стоило мне доказать, что никакой это не намек-шутка, а проявление неотесанной моей «татарской» натуры.

Не счесть должностей Эге в нашем «Оазисе». Справила она с учительских грошей нам «гроссбух», толстенный и чуть ли не в кожаных корках. И стал тот гроссбух нашей «Повестью временных лет», а она в ней Пименом-летописцем. Сотворит кто что мало-мальски складное, доведет до ума-кондиции после горнила всеобщей критики, Эге обязательно запечатлеет в «гроссбухе» на отдельной странице, в объятиях соответствующего рисунка.

Я, к примеру, дебютировал в той поэтической летописи призывно:

Если ты любишь родную природу,  
Если знать хочешь свой край,  
За плечи рюкзак и в походы  
В синие дали шагай.

Дальше прочая туристская, учено, так «атрибутика» — горелая каша у костра, как спится после нее «крепче, чем в мягкой постели» почему-то на голой земле и прочий безыскусный, снова ученость, «антураж». Сопроводила Эге мой поэтический призыв акварелью следующего содержания. В верхнем правом углу над призывом стою я. Плечи отягощает рюкзак. Вровень со мной вата облаков и галочки пернатых, надо думать, орлов, потому что «я стою на высокой скале». В подножии скалы и стиха сине-зеленые волны лесистых гор, очень похожих на виды с заветной скалы — каменного нашего Самолета на горе Татарке.

Как же, запомнилось, потому что немного мне пришлось запоминать. Не густы были мои поэтические входы под сенью пальм «Оазиса», что дало повод д-ру Лому, в эпиграммах язве не последней, отметить: «Тремя стихами душу греет, в них так он, видимо, влюблен, что уж не пишет больше он». Конечно, обидел, но и заставил задуматься, почему это я и в самом деле столь неплодотворен. Конечно, учеба, конечно, общественная нагрузка, не до стихов, конечно, наш духовный отец Козьма Прутков рекомендует: «Если можешь, не пиши», что и занесено в устав «Оазиса». А я и в самом деле могу не писать, а чаще и не могу. Ну не рифмуется и все тут, прямо-таки выворачиваешься наизнанку, вроде как чешешь левое ухо правой рукой. И бывает, доходит до меня крамольная мысль: стихи — это словесное извращение, это противоестественно. И стал я пробовать «естественную» прозу.

И после нас, ухода первооазисцев, пока жива была Эге, зеленел наш «Оазис». Даже когда совсем обороти ее хворости до безвыходности из «Аквариума», до смертного выноса светилось окно Эге. Приветным, казалось, вечно ждущим светом. Через сколько бы, откуда бы, когда бы ни стучался, не был ты здесь неожиданным. Как бы ни спешил обойти дом к подъезду, дверь отворена, даже когда Эге из комнаты выйти было в тягость, кто-нибудь да был у нее и открывал. И вот ты уже в «Аквариуме», и Эге ласкает тебя благодарным взглядом. И ни намек в нем на укор, что ты столько глаз не казал, строчку чиркнуть ленился. Стыдно и без укора. Спрашивает о житье-бытье, а тебе вроде и сказать нечего, и пустопорожне, выходит жил, на суету сует

себя тратил. И снова стыдоба. Она же надеялась, что не зря в тебя душу вкладывала.

А как же радости? Не без них. От кого, как не от Эге узнавать было, что сочиняет д-р Лом в стихах и по жизни, всю жизнь он сочинитель. Как литературно-учительские, а потом, как газетные дела у Крошки-Прошки. Какие стали варят Ако и Коко, в каком из зарубежных университетов читает выездные лекции по математике Просто-Володя. А разве не в радость купаться в лучах славы из восторженных глаз очередных «кактусят», чьи стихотворные опусы, продолжает заносить Эге в нашу «Повесть временных лет».

Ничто не светит вечно, погас приветный свет Эге, повяла, заросла быльем забвения зелень пальм и кактусов «Оазиса» без живительной влаги «Аквариума». Но ведь не так все, не так по жизни. Разве не разросся наш «Оазис» на всю страну, в наших сердцах? И на все наши жизни жива под его пальмами хранительница вечного огня единения наших душ Эге.

Я вновь повстречался с надеждой, приятная встреча.  
Она проживает все там же, а я был далече...

Прости же, Эге, за черствую ленность душ наших, но и не кори сурово. Ты с нами, а что тебе больше надо. И дай-то бог каждому.

## **Садик «Динамо»**

Это уж как в небезызвестном боевике советских лет «Место встречи изменить нельзя». Во все времена городской парк — садик «Динамо» был местом встреч со всего города. В ясные каникулярные вечер слеталась и наша «оазисная» гоп-компания, кто оказывался в городе.

Садик «Динамо» — это шелест свежих журналов и газет и подшивки старых в читальне, по соседству на открытой веранде вкрадчивое передвижение по клетчатому полю шахматных ратей. По приезду из «политеха», именно здесь я находил по вечерам д-ра Лома. Среди местных «полководцев» он считался опасным, в поединках своим мыслительным накручиванием чубчика дости-

гал побед. В помощь ему было отвлечение противника шутками-прибаутками, коих был в нем неиссякаемый источник. Верный и всегдашний «санчопансо» Антрацит («оазисное псевдо», тоже с Чапаевского поселка) молчаливо переживал за его плечом, как правило, стоя, и мы издали вычисляли, тут ли д-р Лом.

Много чего спортивного и зрелищного, тихого и громкого предлагал садик «Динамо». Но главная местная привлекательность, дощатый пятачок, огражденный сине-зеленым штакетником, с навесиком над невысоким помостом для музыкантов, а вернее музыканта, помнится, как правило, играл только аккордеонист, а того чаще пластинки через рупор громкоговорителя. Тут по акустике, итак децибел не жалели, хватало и на пятачок — за деньги, и забесплатно на весь садик «Динамо».

«У меня есть сердце, а у сердца — песня, а у песни — тайна, тайна — это ты...», «Бесаме, бесаме муча...», «Чико-чико (2 раза), этот Чико прибыл к нам из Порто-Рико... На такого парня погляди-ка... У девчонки в волосах его гвоздика», «Та-та, ту-та-ту-та-а, тута-тита-титата-тутатина...», Ах, эта незабвенная «Рио-Рита», зажигающие мексиканские ритмы, «румбы» — твои фокстроты, садик «Динамо» до сих пор убыстряют пульс, а плавные танго заставляют сладостно замирать сердце. Мы обходились без скачек, глазением на танцующих из-за штакетника. Плохому танцору, известно, что мешает, но и идеологические соображения. Нам хватало садика «Динамо» и без «скачек».

У нас было так. Спускались со своих горных поселков на трамвайчик — и в Город, так у нас именуется городской центр. С площади маленько вверх по Ленинской, и вот мы под сенью вековых лип в заветном нашем садике «Динамо». По приходу искали на веранде шахматных боев жгучебрюнетную голову Антрацита, чернеет, значит, д-р Лом дерется за очередную победу. Подходили, терпеливо ждали, когда победит, худо когда не в масть, пока не поматерит, он не наш, не поднимешь. Ну а мы по-маяковски, так кидались усмешками, походя (?) мелочных дел, «что у кого да как». Ну вот и «гром победы раздается», победитель наш. Сначала разминка по Ленинской, которую стилиаги опошляли, называя «бродом». «Брод» не из поговорки с советом, когда не надо лезть в воду, а по известному уже тогда не по радиопесням Бродвею:



*«На Бродвее шумном чистил негр ботинки, и блестят у негра лишь белки у глаз. Он влюбился в ножки маленькой блондинки...».* Ну а дальше по законам, по-газетному, так «расовой сегрегации» бедный влюбленный гибнет от руки белого расиста.

Бродом считалась лишь часть Ленинской от Стрелки до площади III Интернационала (кто знает, что это такое?). Здесь вот туда и сюда хляляли стилияги, нагло выпендриваясь своими прибабахами. Стоило потеплеть, как тараканы из щелей, повыползло низкопоклонный перед Западом этот поганый стилиажный народец, наглый без предела.

Как ходит советская молодежь? Просто и аккуратно, известно, что важна не форма, не внешний облик, а идейное содержание. Прическа — бокс или полубокс, ну еще разве полечка или боброежик. У этих же патлы до плеч, еще и кок надо лбом взобьют, измажут, чтоб держался, вазелином. Как ходят нормальные советские девушки. Коса — девичья краса, ее ведь тоже можно по всякому, и в две, и в одну, и с бантиком, и без, и венчиком и бог знает еще, как они умеют. Девчонки в школе, как одна, с косичками ходят, после школы можно и обрезать, твори на голове, что хочешь, но не переходи правила приличия. Волосы гладко зачесаны, сзади хвостик чуть поднят, на шейке такая трогательная ямка, у нас это «элхака», расшифруйте сами. Можно «шестимесячную», разные укладки, бигуди в конце концов. У этих же на голове: «фокстрот», «вшивый домик», «я у мамы дурочка», кто зеленой оболется, кто марганцовкой.

А как можно дойти до такого в одежде? Нормальная советская молодежь носит, в основном, вельветки на молнии, на «выход» пиджак с галстуком. У этих же «клифт — френчик-полуперденчик» до колен, в плечах — «во-о», в коленках — нога об ногу заплетается, не мужик, а баба. Ниже едва видны коротенькие штанишки, почти как до школы носят на лямках, почти как «футбольные-домашние» трусы, но в обтяжку, с мылом натягивают. Носки и нормальные-то днем с огнем не сыщешь, эти же достают даже во все цвета радуги. «Корочки» желтые, красные, толстенная подошвина, по ней и названия — «трактор, протектор, каша». Советская молодежь галстуки если и носит, так на особые торжества и свиданку, не так давно и, вообще, презирала, как символ мещанства, недобитых

буржуев. У этих «удавки» — лоскуты бабьего крепдешина, и что только не намалевано. Пальмы — эмблему нашего «Оазиса» опошляют; щерят с «удавок» пасти звери южных широт; даже «герл», по-ихнему, почти в чем мать родила.

Комсомольские патрули за стилиягами охотятся с ножницами, стоит появиться, ножницы в ход. «Шкарики»-штанишки, по-ихнему, «дудочки» чик-чик по шву и печатай шире шаг, а то и по колена обкарнают. И патлы чик-чик по-овечьи, лестницей. Ну а галстуки конфискуют в комсомольский штаб как «вещдоки». Конечно, низкопоклонство, но, по-современному, так круто. Как же, видел и примерял даже. На первом курсе уже вовлекли в народную дружину, патрулили и мы, в штабе повязки получали и сдавали, задержанных сдавали.

Впрочем, по Ленинской гуляют, в основном, нормальные ребята со всего города и приезжие на каникулы, в отпуск. И мы вот, оазисцы, собираемся. Прошвырнемся туда-сюда, разговоримся для разминки, и в садик «Динамо», к «пятакчу», на главные разговоры под бесплатную музыку, которая хоть, в основном, закордонная, но совсем не стилижная. В горкоме строго следят за репертуаром. Разные там рок-н-роллы и буги-вуги здесь никого не развратят. Литературно, так под отцензуренный, музыкально, так аккомпанемент обсуждаем наши «оазисные» дела, обсуждаем то акмеистов, то имажинистов, в стихотворном океане «серебряного века» русской литературы мы плаваем уже свободно. Стихи читаем — Гумилев, Иннокентий Анненский, Бальмонт... Трудно, но уже доступны. Перепись, в основном, со старых книг, кое-кого и издавать начинают.

Заключительный аккорд всегда один. Полдвенадцатого. Предупреждающе мигают прожектором и заводят отходный вальс, всегда один и тот же старинный вальс «На сопках Маньчжурии», как же полковой капельмейстер Илья Шатров в Златоусте сочинил. Все расходятся. Нам вместе на трамвай в нашу метзаводскую сторону, и было нам еще времени пообщаться-попрощаться. До новых каникулярных, праздничных наездов, чтоб снова свидеться в «Аквариуме» у Эге, и ясно на небе, так и в садике «Динамо».

## Булычевка. 1957

Булычевку вы на челябинской карте не найдете. В наше время улица Труда отсекала на берегу Миасса довольно-таки уединенный уголок, на редкость, ну прямо-таки, по-деревенски тихий, хотя и в двух шагах от Кировки. Очень любимый студентами частный сектор, до всех четырех вузов ездить не надо, пешочком пару минут: и «Мед» (мединститут), и «Пед» (пединститут), и «Сельхоз-навоз» (ЧИМЭСХа — механизации и электрификации сельского хозяйства). Понятно, что попасть сюда наш брат считал за большую везуху, но за нас слово Лев замолвил. Дед его здесь жил. Мол, мне веселее, сказал Лев, а тот ему: «Смотри, тебе жить с ними», и пустил, не за так, конечно. По фамилии он был Булычев, потому и «деревня» на берегу Миасса у нас звалась Булычевкой. Наш Лев у Булычева не единственным внуком оказался. Внучка из Харькова поступила в наш «Мед» (конкурс меньше, чем на Украине) да еще с подружкой. Дед раздобылся и их пустил. И получилось целое смешанное общежитие Осьмуха, как моя родная школа, потому что дом как и у нее тоже под номером 8: две харьковчанки, Лев, Борис Дорофеев и Генка Барыкин.

На втором курсе и я сюда перебрался. Мой «частный сектор» на Кировке, до «политеха» далеконько. Пока на Тимирязева вуз квартировал, удобно было на трамвае, а как стал перебираться к парку в свой корпуса, вышло мне туда-сюда совсем нескладно, пересадка на площади на троллейбус. Приду к ребятам Осьмухи, ною, как им хорошо, а мне плохо. Вот и пожалели: «Переезжай к нам». «Так ведь у вас кроватей три, больше не влезут». «Девчонки переводятся к себе в Харьков, Лев уйдет в их комнату». «А до того?». «Кровати составим и как на нарах в Мужскоре». Так и решили. Как говорится, в тесноте да не в обиде. Но все вышло не совсем так. Лев как пан-барон спал отдельно, дед условие поставил, чтоб так, внук все же, дочь узнает, обидится. И от спарки кроватей пришлось отказаться, к столу через них надо лазить. Как стояли вдоль стен с проходом к столу, так и остались. Вот и решите задачу: жильцов трое, а кроватей две. Поначалу я мыкался на полу, но зимой холодно, и через меня спросонья забывали перешагнуть. Потом сжалились, к себе наверх пустили.

Как спали? Да по графику, две ночи вдвоем, на третью ты один на кроватном просторе.

Жалел нас дед. Заглянет к нам: «Не мерзнете, ребятки?». Заботливый и никогда не ругался, скажет только: «Вы, ребятки, от угла подальше отходите, не на стенку, а там снежком забросали и ладно...». Очень уж далеко казалось в мороз бежать до «удобств» на огороде. Подкармливать, этого не было, но сочувствовал и в случае чего кое-что приносил.

Через его доброту я пролежал «инкубационный срок», первый мой больничный, в инфекционном отделении. Вышло, как в том анекдоте. Собрались студенты сессию отметить, наскребли на «сучок» (она же «красная головка» — самая дешевая, поганая водка), а на закуску ни «копья». Поскребли в тумбочке, выскребли крошку. Пьют, занюхивают. У одного насморк, он «ап-чхи» — и крошка в носу. А ему: «Ты что, пить пришел или жрать?». Так и мы. После весенней сессии перед разездом по домам сбросились, а на закуску-то нет. Деда пригласили, он и сжалился: «Ну что вы, ребятки, без всего. Сейчас я вам...». И приносит чашку соленых огурцов, бочка в сенах стояла. Мы их понужнули, и зря, по крайней мере, я. Огурчики-то не первой свежести, лето на дворе. Наутро в электричке бегать начал. Домой прибыл, из «скворечника» не вылажу, беспокойный отец и вызвал «скорую». «Скорая» прямиком меня через весь город на зады городской больницы, где в отдалении и полной изоляции собирали подозрительных по моей части. Много нас было, и что характерно, заразы — дизентерии и что там еще по «животной» части ни у кого. Но попал — две недели той обособленной палате отдай, потому что карантин — «инкубационный период» столько.

Светло вспоминается Булычевка. Особенно по весне. Конечно, сессия отравляла бытие, но кипень сирень-черемухи в каждом палисаднике, а у деда на задах садик, в нем «яблонь белых дым». Калитка — прямо на речной берег. Много ли надо солнцу воду греть, чтоб нам начать сезон. В зарелетье весь берег — сплошной пляж. В основном, в реке воробью по... галке по... но на глубинке здесь поплавать можно, даже были «случаи».

Речные радости и кроватные неудобства дарила Булычевка семестра два, пока не отстроили новую общагу и сочли мое ма-

териальное положение достаточно невысоким для вселения сюда. Ну а Булычевка вскоре уже частью ушла на дно Миасса, став местной Атлантидой, частью — под Дворец спорта «Юность» с Геологическим сквером.

## **«На аэроплане» в Этовне**

Сохранились у меня поблекшие от времени снимки. Драндулет с каким-то странным сооружением вместо кузова, на нем мы с Геной Барыкиным. Это уже второй трудовой семестр после первого курса. Нам тогда доверили сельхозработы более высокой квалификации — «на зерне». Тогда еще не было стройотрядов, но это были их провозвестники. Студенческие отряды высаживались десантом на «Планету Целина», и много здесь что делали. В основном, на зерне — уборка урожая. И успешно делали. Десятки ветеранов тех отрядов хранят медали «За освоение целинных земель».

Мы тогда их не удостоились, но работали по-комсомольски ударно. Наш отряд вкалывал в Петропавловском совхозе на Целинном отделении со странным названием Этовна. Кстати, я был командиром, знай наших! Оглядываясь назад, очень даже понимаю, от таких, как я, командиров было больше хлопот, чем пользы. Своих донимал дисциплиной и прочей мелочевкой. Ну а с начальником отделения права качал, что надо. И по нарядам, и оплате, и быту. Помню его, помню. Огромный, медномордый, тупоглазый (так мне казалось), в галифе, картузе (в старых фильмах все начальство, от Сталина и ниже, ходило в таких), брезентовых сапогах и почему-то вельветовой куртке свободного покроя, что именуется толстовкой. За все про все был он удостоен звания Свинтуса грандиозус.

Было нам еще труднее, чем на картошке, но интереснее, по крайней мере, мне. Что мы только ни делали по нарядам Свинтуса грандиозуса (да простит нам начотделения это наше латинское звание). В основном, на копнителе комбайна, на току, еще на силосе, да разве все упомнишь. Ну а мы с Геной Барыкиным, как мастера вил, проявив себя еще в Томинском совхозе, были безвылазно на вывозке соломы на персональном «аэроплане». На ЗИС-5 чуть ли не военных лет, вместо кузова сколотили эдакую клетку без верха

с большими выступами по бокам, чтоб больше соломы входило, они как крылья на «кукурузнике», вот и «аэроплан».

Ну, конечно, не только работали, как говорится, юность берет свое. Вроде ухрюкались за день, а помылись, перекусили, и пехом километра за три-четыре на танцы в совхозный клуб.

Памятна встреча с «харбинцами»-эмигрантами, вернувшимися их Китая, среди них были и прощенные беляки (впервые видел живых). Хрущев возвращенцам сказал: «Пожалуйста! Но грешки отработывайте на целине, у нас там не хватает специалистов». Так они добровольно-принудительно оказались и в целинной Этовне. Что-то они там делали. Нас они очень привечали. У них я впервые услышал «У самовара я и моя Маша...» Петра Лещенко и других закордонных, у нас до того запретных Орфеев. Харбинцы-целинники потихоньку перебирались в наши города и уже в то же Новогодье-58 я даже чокался за новогодние успехи с двумя из них в застолье у Володи Вахрушева.

Геннадий Барькин из Челябинска после «политеха» никуда не уезжал, но я со своими разъездами его потерял. И вдруг мой дальний родич дядя Вася передает от него привет. Он потерял руку на фронте. На нашем протезном заводе, как изнашивается протез, делали ему по культяпке новый, потому и останавливался у нас по приезду из своей горной деревни. Оказалось, Барькин здесь главный инженер.

Уверен, что Свинтус грандиозус вздохнул очень даже облегченно, расставаясь с нами. А мы-то уж с ним, как говорить не будем. Рассчитался с нами (мы ж таки кое-что заработали, не деньгами, а зерном) думается, назло, что нам с ним в городе делать. Ну я понятно, в дыбы, куда мы с зерном, а он злорадно лыбится, мол, ждите, когда деньги будут или продавайте нашим. Знал, что ждать ни дня не будем, скорее зерно бросим, чем хоть на день задержимся. Сунулись с продажей, такую цену дают, задарма. Ну и решили, привезем в Челябину, возьмем да толкнем Свинтусу назло на Элеваторном рынке, все равно дороже дадут. А как везти? Машину не дает, все на уборке. Я в совхозный партком, мол, в городе пойдем прямо в обком, вон как вы к городским помощникам относитесь. Убоялись, дали грузовик, но только на ночь.

Загрузились, улеглись на мешки с зерном, накрылись пологом. И с ветерком. Свистит ветер, а нам тепло, и мухи не кусают. Небо ясное, звезды на нем, как у Чехова про Ваньку Жукова: «будто их перед праздником помыли и натерли снегом». Красота! И вдруг светло стало, как днем, так засияло. Северное сияние, сполохи играют! Но у нас же не Заполярье, на челябинских широтах вроде сроду не отмечалось. Значит, очень крупно повезло, любуйтесь чудесами на небесах. Так и ехали, охали-ахали на сияющее небо, не ночь — белый день. Назавтра в «Челябке» подтверждение небесному чуду «Северное сияние на челябинских широтах».

Только Боря Дорофеев из Сороковки был мрачнее тучи. На рассвете прибыли в Челябину, сразу слинял в свою Сороковку, зерно на меня бросил. Нам-то откуда было знать, что будет, если рванет там, а он знал — будет Хиросимат с Нагасаки. А там как раз и рвануло тогда, украсив ночь «северным сиянием», вписав в историю «Аварию на химкомбинате “Маяк” 1957 года». Не бомба, а только «радиоотходы», но все равно аукается уже более полувека.

Пшеничку мы толкнули и даже выгодно (икай Свинтус грандиозус!). Подъемный мешочек я и домой в Златоуст привез на радость нашим курам, дали недельку перед занятиями отдохнуть. Боря со своей Сороковки вернулся посветлевший, на все наши намеки, что случилось, отвечал отрицательно: «Это не у нас, что-то у свердловчан», видно, так подучили. Той же осенью мы стали с ним однокомнатниками.

## **В городке МВД**

С Володей Вахрушевым мы сошлись как-то быстро и незаметно на втором курсе тогда уже в МХ-209. Так переименовали нашу группу, по-старому быть бы ей МТ-238, но суперсекретный наш факультет уже всплыл из глубины Механико-технического факультета под фиговым листочком прикрытия тайн от шпионов как Механический. Потом он сменит фиговый листочек еще не раз, пока не станет Аэрокосмическим.

Второкурсной осенью состав группы несколько обновился. Пару ребят «ушли» отнюдь не по академической неуспеваемости

и пропуску «занятий», «Первый отдел» засомневался в личных анкетах. Их место пополнили новички, в числе которых Владимир Вахрушев переводом из Ленинградского горного имени Плеханова, отчислен именно за то, что марксизмом увлекался вместо изучения геологии. Конечно, с переводом подозрительно, просто так из Ленинграда в Тьмутаракань (еще не завтра «политех» стал в престиже) не переходят. А он и в самом деле перевелся безо всякого «криминала». Когда сошлись поближе, признался — из-за любви, не мог без нее. Лена и в самом деле, как узнал, стоила этого. Красавица даже в моем разборчивом вкусе. Жгучая брюнетка, но спокойная, как раз остужать Володину пылкую натуру, хотя в глазах эдакая ленивая голубынь. Впрочем была у него ленца, по крайней мере, в писании.

Сошлись мы на «писательском», а вернее сценарном поприще. Я тогда начинал роман «Студенческая рапсодия», забросил из-за него. Он в плехановском нахватался киношности, даже участвовал в студкиностудии. Узнав про роман, соблазнил переделать его в сценарий, а он по нему снимет «фильму». Разве устоишь! Закипела работа, и мы оказались вместе, а я частым гостем у них в Городке МВД. Название требует пояснения. МВД, понятно, министерство внутренних дел, а вообще-то не только милиция, но и кэзгэбэшники. Для них в Тридцатые годы под городок целый квартал заняли фасадом по проспекту Ленина от улицы Красной до Свердловского проспекта. Очень характерные дома, балконы, будто с бойницами под стрельбу, чтоб оборону держать. Предусмотрительные!

Остановлюсь по этому адресу, потому что потом, после «геологии», даже довелось здесь жить. Двухкомнатная квартира в угловом подвезде. Окна через улицу Сони Кривой почти в окна Людмилы Татьяничевой. Квартира как квартира. Вахрушевы получили ее, потому что отец был военным строителем, а такие стройки все в зоне МВД. При мне Володина родителя уже не было. Мать Володи осталась в памяти очень участливой и грустной женщиной. Сердечница, она знала что не поправится и медленно угасала, вернулся из «геологии», только портрет на стенке. У Володи от нее очень голубые глаза и слабое сердце, в конце концов, оно и доконало. Еще у него был брат помладше. Семейный знак —



глаза еще голубее и обширнее, в пол-лица под Михаила Казакова. А сони в них было столько, что звали его «полузадушенный». В делах же, особенно женских, о нем этого не скажешь. Слабый брать на грудь, он постоянно горел на этом, по совокупности и на «бабах», на одном месте долго не держался. В основном числился по искусству — фотографировал, при театре держался не только ради актрис, что-то и делал. В конце концов, как у Высоцкого фронтовики «до полярных высот добрались», добрался и он. И пропал, то ли замерз, то ли сгорел от «согрева» где-то в чукотской тундре, заведя «красным чумом», так у них там именуется передвижной клуб. Жила с ними еще совсем одинокая тетя Шура. Больше не жила, чем жила, потому что лишь навевалась. Где-то на Украине она была очень нужна. В отсутствии вещи ее были упакованы в углу, но было их так мало, что почти незаметны и никому не мешали.

Сладко маялись мы с Вахрушевым сочинительством на третьем курсе, хотя и я уже сбежал на Автотракторный, убоявшись жизни под грифом «СС» и, не дай бог, за колючкой. Пока не сошли наши сценарные потуги потихоньку на нет. Удивительно, но у меня, несмотря на отработочно-дипломные в геологии скитания, сохранились отрывки из обрывков этих потугов. Как это у бардов «Как молоды мы были, как весело дружили и что-то несусветное плели».

Володя увлекся СТЭМом (студенческий театр эстрадных миниатюр), идею которого привез из Москвы присланный на укрепление МХ-факультета Анатолий Морозов. Володя там и играл, и пописывал, и режиссировал, пока тот дело не взял полностью на себя. В сем качестве я знал Морозова, ну никак не походил он на «препа», а ведь был он в своем предмете — чем-то сложном, двигательльно-воздушном, глубок, очень требователен и даже жесток. По-моему, чуть ли не пару десятилетий пробыл в этом двойном качестве. Анатолий был у нас Морозов-старший, потому что был у него младший брат Борис, тоже политехник и манекенец, ставший профессиональным режиссером раньше «старшего» и даже Театра Советской Армии в Москве. В конце концов, и Морозов-старший перешел в профессионалы в нашей драме, а потом в каком-то ленинградском театре и приехал оттуда ставить спектакли.

Судьба Вахрушева схожа с морозовской, но не повторна. По окончании был оставлен на родной кафедре, какой, до сих пор не знаю. Вот ведь как мы были вымуштрованы насчет секретности. Ни спрашивать, ни отвечать с предварительной подпиской о «неразглашении гостайны» даже через сколько-то (забыл сколько) лет, даже когда отойдешь от секретных дел. Как же, заполнял, подписывался и исполнял. По возвращении из «геологии» кто-нибудь слышал от меня на что мы работали, даже по пьянке. В книжке моей «Точка на карте», по сути, отчете о творческой командировке в «геологию» даже самый дотошный шпион не найдет ни намека, на какие это руды вела разведку моя книжная Буранная.

По прошествии срока давности снимаю с себя обет молчания и во всеуслышание с гордостью признаю, что наша Сосновская экспедиция Первого Главного управления (разведка радиоактивных минералов) вела поиск сырья для атомной индустрии, энергетики и оружейники ядерных зарядов в Восточной Сибири и Забайкалье. Работал в трех геологоразведочных партиях, стоявших в Старом Олове, Зюльзе и Баде.

О том, как мы бдили секретность, говорит очень поучительный факт. Провожали мы на Урал «брата-геолога», слышал краем уха что на Южный, и тоска по родине удесятерила мои ухищрения уточнить конкретно куда. Но как ни улещал, сколько ни подливал, отъезжавший только улыбался (знал, что из Челябинска). Можете представить, по возвращению в Челябину, встречаю я этого партизана. И снова на вопросы, почему здесь, лишь улыбка. Много позже узнал-таки не через него уже, а ребят из Челябинской геологоразведочной экспедиции, что наш Первый глав копался в Городском бору и шершневском заречье. Понятно стало, что это за поселок геологов стоял заброшенным в центре бора, на чьи реперы-заглушки скважин я наткался, гуляючи по бору.

О том, что нарыла в Забайкалье Сосновка, узнал лишь через сорок лет, когда за помощь в подготовке книги о Приборостроительном заводе в Трехгорном (собирали ядерное оружие) подарили мне весомый фолиант «Ядерная индустрия России». В главе «Сырьевая отрасль ядерной индустрии» называется два горно-химических комбината (ГОК) в Забайкалье — одноименный в поселке Первомайском и Приаргунский в городе (я о таком и не

слыхивал, вырос после меня) Краснокаменске. В Первомайск мы часто наезжали по разным хозяйственным делам, здесь уже при нас действовала обогатительная фабрика «по обращению литиево-бериллиевых руд с получением литиевых и попутно бериллиевых и танталовых концентратов» (цитирую книгу). Эта фабрика и выросла в комбинат. Дочерние предприятия — рудник в Старом Олове; рудник и «обогащилка» в пос. Ермаковском, где мы вели поиски из Бады. Приаргунский ГОК в Краснокаменске по книге был самый крупный в Советском Союзе по добыче урана, единственный такой в России сегодня. Комбинат успел вырасти уже после меня и заработать ордена Трудового Красного Знамени и Ленина. Мне знакомы поселки Харанор, Борзя, Забайкальск и Маньчжурия (в прошлом Отпор) в этих местах. Когда здесь, в начале Шестидесятых годов «засветило», при мне срочно стали перебрасывать «кадры» из всех партий Сосновки, в том числе из нашей в Зюльзе, многие зюльзинцы стали краснокаменцами. Для геологоразведчиков редкая везуха стать горожанами, предлагали и мне, но это не по мне, другие планы.

Вахрушевский конец был таков. Попреподавал он на родном факультете, поманекенничал. Дети растут, двое пацанов у них с Ленкой, надо двухкомнатную, лучше трех, но на факультете плохо. Пообещали на родственной кафедре в Коврове, и перевелся. Не обманули, гостил я в его трехкомнатной, не очень просторная, но в центре городка. Здесь Володя, за отсутствием «Манекена», полностью переключился на кино, вел городскую киностудию, вроде неплохую. Под водочку сам приготовил говядину по-какому-то там особому рецепту, с черносливом и «сладким соусом»: «Ленка так не приготовит». Ленка только улыбалась: «Если б ты почаще готовил, разрешала бы и похуже». Водочку он еще тогда пил, хотя и не по-былому. В ответные гости Володя приезжал уже после инфаркта, но восстановился, и даже меня поддержал рюмочкой, был бодр и весел. Как заведено, переписывались все реже и реже, до новогодних открыток. Пока не получил ответа, Лена подтвердила мое опасение.

Хорошая жена попалась Вахрушеву. Володя был не сахар, а она все смеется и кончик остренького носика забавно подрагивает. Не она бы, Володи много раньше не стало.

В Вахрушевы Володя меня ввел на первый мой семейный в Челябине Новый год. Встречали шампанским, как положено, а мне впервые без песен, зато танцы. Хотя и «взрослая» компания, мне было свободно. Из молодых — Володя с Леной, Юрка-брат с Элей. Кажется, единственная актриса, с которой он «дружил» (и жил) долго, более года уж точно. В нашей «драме» она была не рядовой, хотя и «характерная» — типичная, театрально, так трагически, актриса-мальчик. Любовь бу-урная. Они и в то новогодье не раз взбуривали.

На том новогодье был ну совсем еще молодой инженер Кокоша. Так по крокодилскому сынку Корнея Чуковского родичи называли двоюродного володиного брата Николая. В том, что племянник его матери, не сомневаюсь, очень похожи, ну а отец его, тоже был, и вообще, ее мужская копия. Кокоша с родителем были очень интеллигентны. За пару студенческих лет я уже пообтерся в интеллигентской среде, но то все были, в основном, преподаватели с графой в анкете «из рабочих, из крестьян». А известно, интеллигентом становятся в третьем поколении, все равно что английский газон через года стрижки. А вот от этих несло особо интеллигентским, не нашенским заквасом. Они и были ненашенские, из «харбинцев». Так называли возвращенцев из Китая, которые жили, в основном, в Харбине.

Возвращенцев было три волны. Из первой, довоенной, никого не встречал, да и не мог встретить. Их всех сгноили в лагерях, поставили к стенке солдаты Ежова и Берии. Первая послевоенная, вторая по счету волна пострадала поменьше. После победы Сталин был к ним добрее. Из этих был мой сотоварищ по комнате уже в аспирантском блоке — Боб Стафейчук.

Володины «харбинцы» были уже из третьей — хрущевской волны. Доказательство, что сталинское «всех и вся давишь» кончилось, и на дворе набирает силу хрущевская оттепель, вот оно чокается со мной за всякие подходящие новогодью тосты. А ведь дядька-«харбинец» был самый настоящий колчаковский недобиток. Начал воевать с нашими у нас на Урале, огрызался до последнего и унес ноги за китайскую границу при золотых капитанских погонах. Там и отсиживался до последнего, пока ни успокоился у Кремлевской стены «усатый дядька», и повеяло

из Союза хрущевской оттепелью. Он бы, может, так и остался в «китайцах», но Мао, разворачивая под красным пятизвездочным флагом новый Китай, сказал нашим эмигрантам, которые немало там значили как спецы: «Давайте-ка вы на все четыре стороны, без вас обойдемся, своих спецов выучим-воспитаем». Тогда-то и накатила в Союз третья волна, а кто так и не поверил в хрущевскую доброту, перебрался в другие страны.

Встречал я одного из таких в Токио, столкнулись мы там — он по делам, я по спутниковой путевке. Обнимать бросился — земляка встретил, он из Нижнего Новгорода, и даже не знал, что это Горький уже с довоенных лет. Откуда прибыл? Запрыгал для наглядности как кенгуру. Вот куда забросило наших. Еще один австралийцем стал — Витька Ботвинник. Этот куда свежее, после «Мед». Ботва ушел в судовые врачи. Из загранки так и не вернулся, в конце концов прибил к Австралии. Приезжал на 40-летний юбилей их выпуска, много пил, ревел в открытую. Не потому что «ни кола и ни двора» как у «австралийца» Визбора, врачом там нашему трудно устроиться, но устроился, так платят не по-нашему. Ботва устроился, надо думать, если откупил для всей своей группы столики. А что ревел? Мало ли что на душе у «нетверезого» человека.

Ай да Никита Сергеевич, ай да оттепель! Отмечаю я, комсомолец и даже не рядовой, Новый год с колчаковским недобитком. И ведь не подумаешь, работает как все наши инженеры, диплом вроде еще при царе до капитанских погон получил. А вот Кокоша выучился уже в Харбине, папа там инженерил и выучил его тоже на инженера. Оказывается, там и русские школы были, и колледжи, по-нашему техникумы и даже институты. Среди моих знакомых «харбинцев» Миша Зайдель там технический колледж окончил, а Виталик Слободин, медицинский. Виталий Боянович был оставлен на кафедрах «меде» и, в конце концов, стал доктором медицинских наук. В Челябинске немало «харбинцев», но больше всего встречал я их на целине, нет, не на тракторе и в коровнике. Кто учитель, кто инженер, там им сразу ограничений не было. Потом они оттуда перебрались в города. Володин дядька с братом вскоре уже оказались в Челябинске, а молодых учиться сразу пустили. Зайдель со Слободиним, к примеру, без задержки поступили в наш «политех» и «мед».

Дом Вахрушевых входит в городок МВД с тыльной стороны, по Соне Кривой. Этот порядок вошел в Городок уже после войны и обликом из общего ансамбля выпадает. Свадьбу Володи с Леной отмечали в том же городке через двор, уже в фасадном доме, балкон как раз на углу Ленинского и Свердловского проспектов. Тут была более просторная квартира ее отца. Он заслужил ее беспорочной и даже героической службой, полковник милиции в отставке был сыскарем областного масштаба. Володя здесь и оказался у тещи на блинах, как и я позже у своей в примаках, молодоженам предоставили комнату, чего на другом углу Городка МВД не могли. Соединились браком Лена с Володей, мы еще учились, а о их первенце я узнал уже в «геологии».

К моему возвращению из «геологии» вахрушевский угол на Сони Кривой фактически пустовал. Мамы не стало, Вахрушев-младший отчалил на севера, тетя Шура, как всегда, нужна была на Украине. А как же молодая чета Вахрушевых? Квартирный вопрос решили? Когда он в нашем «политехе» решался так быстро. Чтобы жилье получить, надо справку, что «жильем не обеспечен», и делали так, если челябинцы, у себя выписывались. Таким давали комнату в «аспирантском блоке» и они ждали уже здесь, когда «на расширение» дадут квартиру. Сам проживал в «аспирантском» и хотя очень и очень скрывали, знал, через одного косят под таких «необеспеченных». Так вот и молодожены Вахрушевы пустились на обман, ради квартиры у себя выписались и прописались здесь.

«Что квартире пустовать, поживи, пока не обустроишься. Все вещам пригляд будет», — пригласили меня. Кто б отказался? Я и жил-приглядывал. Вот как в жизни бывает, хозяйева втроем в общежитской комнате ютятся, а я один в двухкомнатной, кум королю, сват императору. Совсем не гнали, а ушел-таки в «аспирантский блок», скучно одному стало. Я человек общительный.

## **Люди в белых халатах**

В каждом вузе были у меня «земели» — ребята из нашей Осьмухи, был свой человек и в «меде». В восьмых классах появился в нашей школе вконец затурканный представитель репрессированного

народа. Немцам тогда уже вернули некоторые свободы и разрешили выезжать из сибирской ссылки в разные места, кроме разгромленной родины в Поволжье. Эти вот и выбрали город Златоуст, где немцев с позапрошлого века было немало и относились к ним даже в войну хорошо. Ручьевы (это я их звал так в переводе — Бах) поселились в поселке Строителей, что подняли тоже немцы, но военнопленные, в благоустроенных по сравнению с нашими финских бараках. Поселок по соседству с моей Керамической улицей на Татарке, и мы стали водиться с Робертом, занимались вместе.

Роберт на моих глазах выправился почти в татарского пацана, смотреть стал нормально. Подал заявление в комсомол, и его приняли. Рекомендацию я давал. Потом он признавался, как приняли, всю дорогу домой ревел и ликовал. Значит, теперь он как все! Занимался он, скажу я вам, по-немецки. Твердым «хорошистом» по аттестату вышел из школы. Но этого недостаточно, чтобы стать студентом, ты сдай еще вступительные экзамены, лучше других пройди конкурс. Он взял да сдал на «отлично» все вступительные экзамены и прошел в студенты самого конкурсного челябинского вуза — стал «медиком».

Памятью о том снимок в моем альбоме с надписью: «*ЧГМИ, группа 12, Бах Р., И. Санттер, С. Хвошнянский*». Я знал робертову группу наперечет, девочки там сплошь были весьма симпатичные, взять ту же Инну, что с фамилией — тезкой Северной Пальмиры. Ближе других мне был Сема Хвошнянский, с ним мой «земеля» проживал на «частном секторе» возле первого здания «Меда» по Коммуне. Построили его под школу, в войну отдали под эвакуированный из Киева мединститут. Наш отпочковался от него и квартировал здесь, пока ему не поставили свои корпуса на Медгородке. Бывший «мед» в ельцестройку обновили-переделали под какой-то банк, которых вдруг оказалось необходимо столько, что и позанимали, что удалось захватить, и сами понастроили себе замков из стекла и металла. И откуда только у вчерашних отнюдь скромного достатка наших сограждан денег стало некуда девать, что банки повырастали, куда ни плюнь? Ведь в ставшую суверенной Россию, их, по-современному, «инвестиции», при Ельцине не ввозили, а совсем наоборот, зарубежные банки вклады «новорусских» просто завалили.

Институт находился буквально через несколько бревенчатых домишек дореволюционной поры от робкина «частного сектора». Рядом с ним выделялся каменной кладкой домина с большими окнами, забеленными изнутри до форточек. И правильно делали, заглянешь, неделю блевать будешь. Там патанатомка, где «медики» изучали анатомию человека на трупах и проходили первый экзамен на профпригодность. В робертовой группе тоже был отсев после первой экскурсии в патанатомку, всегда так. Как же, затащил Роберт и меня, разве не интересно. Одного раза хватило отбить всякий интерес. Что там описывать — мертвые тела и отделенные члены (у медиков — «препараты») плавают в вонючем формалине.

Судя по снимку, робкина группа была запечатлена на практических занятиях в патанатомке. Какой-то «препарат» на подносе посреди стола, он не очень отчетлив, как и лица, потому я и не сделал подписей на всех восьмерых, хотя и знал поименно. Все сидят, только Сема стоит, показывая на «препарат», видно, отвечает. Инна Санпитер рядышком, в исключение из правил только она без косынки и чепчика, читает, думается, не по анатомии, что-то интересное, на губах улыбка. Роберт по соседству старательно косится на «препарат» через очки. Со школы он в них был не только при чтении. Возвращаюсь из «геологии», а на нем чего-то не хватает. «Где очки?» «А зачем, зрение выправилось». Так и не понадобились больше, я — орлиный глаз всю жизнь, в конце концов не обошелся без них, а ему хоть бы хны, ни в плюс, ни в минус. Так что годы нас не только портят, но и выправляют.

Инна на моих глазах стала бабушкой, отработав свое терапевтом в челябинской поликлинике. Сема стал по медицине, так вроде офтальмологом, а, просто, так глазником в златоустовской больнице, что по-над поселком Гагарина. Там он лечил и глаза моего отца, а в поселке жил. Как вышел на заслуженный отдых, не удержался и, как многие, уехал на историческую родину, понятно, куда. Оказывается, там заработанную у нас пенсию платят и даже много больше нашей.

Роберт распределился в самом Челябинске, и я застал его уже женатым, вернувшись из геологии. Без меня он успел даже первенцем обзавестись, а вот дочку родил уже при мне, даже с



моим непосредственным участием. Он тогда специализировался на анестезиолога (объяснять долго, что-то вроде возвращения с того света) во Второй железнодорожной больнице. Наставник у него был первостатейный и мне памятный. Назаров первым начинал в области возвращение с того света после операции, и я писал о нем в газете.

К рождению дочки я был привлечен на обмыванье. На работе родителя все были рады от самого Назарова до медсестер и санитарок. Все поздравляли, и всем было хорошо после мензурок служебного спирта, о родителе говорить нечего. Справив обмывание, сотрудники разошлись, оставив пострадавшего от поздравлений виновника торжества на меня весьма в щекотливом положении. Он был нетранспортабелен. Транспорт уже не ходил, как и мой друг. Можно было бы, конечно, оставить его на служебном диванчике, где спали во время дежурства. Но верный поселковым понятиям, что бросать товарища западло, я решился доставить страдальца за новорожденную дочку к себе в общагу. Тогда я уже преподавал в альма-матер и проживал в «аспирантском блоке» возле бора. Лучше не вспоминать, как долго нес я праздничную трудовую вахту в честь пополнения семьи друга. В основном, на себе в прямом смысле слова. Ходил он в ту ночь плохо.

Обмытая на совесть, согласно народному обычаю дочка стала расти здоровенькой на радость папе и маме. Тетешкал я ее уже не «у тещи на блинах», где мой друг, как и сам я вскоре, проживал в примаках. Впятером в ее полуторке было невозможно, и Роберт, скрепя сердцем, расстался с Назаровым и анестезиологией для решения жилищного вопроса. Обширную и весьма уютную квартиру ему дали в копейском поселке ХХХ лет ВЛКСМ (заведены в советское время были юбилейные названия улиц и целых селений). В конце века комсомол и названия в его честь исчезли, тот поселок стал Старокамышинском.

Жилплощадь позволяла даже собаку завести с телянка — догину, но не «мраморного» окраса как у Дорофеева в Миассе, а какой-то более скромной масти. Пакостливая, по крайней мере в моем отношении, оказалась сучка. Была у меня летняя куртка, кожаная, темно-рыжего цвета, с массивной медной, надежной молнией, мех густой, крепкий, а теплый-то, хоть в рефрижера-

торе путешествуй. С какого зверя шкура, никто сказать не мог, потому что куртка заокеанская, оказавшаяся у нас, как и другие добротные, долговечные вещи, еще в войну, по американскому, по-ихнему кажется, «лендлизу». Внуки бы мои носили куртку, век не сносить, если б не эта мерзопакостная догиня. Роберт в Тридцатилетке увлекся охотой, ведь копейских болот и озер с разными водоплавающими не счесть. Ну и подкатил ко мне: «Дай куртку на охоту», а у меня, по-чеховски, так «нрав собачий, не могу не услужить ближним». После той охоты приезжаю, напоминаю о куртке, а он глаза воротит, больше, чем себе подливает, а супруга закуски без спросу подкладывает. Вышли в коридор покурить, он отдергивает задергушку с вешалки, а там моя куртка висит без рукава. «Это все Стелла. И что это с ней, кормим вовремя, даже остается». Гадай-удивляйся, а что мне куртка без рукава. Вот тебе и сучка с паспортом, наши-то поселковые дворняги даже голодные сроду себе такого бы не позволили.

В общем, все было бы смешно, когда бы не было так грустно, такой кожи на рукав не достать. Но другой мой друг студенческой поры (он у меня Югинз) обнадежил: «Я организую, и не заметишь разницу в рукавах». Организовал, в благодарность дал я ему в ней порулить, от отца ему перешел «личный транспорт». Незаметно и пригrelась у него куртка, я понимал, на машине ему нужнее, чем мне. Пришло время и увез он ее с собой на историческую родину, там хоть и полупустыня, а ночи, говорят, холодные. Может, ему и нужнее, но жалко.

Пришло время и Роберту на историческую родину, но как в комсомольской песне, «в другую сторонú» в Дальнем зарубежье. До того успел он побывать и в Ближнем, когда оно еще не стало так называться.

Друга моего забросило в казахстанский Чимкент. Хорошо в Тридцатилетке, но поселок, а это столица области. Здесь врачи были очень нужны, судя по тому, что выделили сразу трехкомнатную квартиру да в центре города. Здесь-то Роберт достиг вершин своей врачебной деятельности, стал главным анестезиологом областной больницы. Выбрался сюда я к нему только раз. Супруга его с дочкой к тому времени уже вернулась в Челябинск, а он временным холостяком доучивал сына в десятилетке. Жить

не знаю, но гостевать там, невзирая на зверскую жару даже в сентябре, вполне комфортно. В немногие свои свободные вечера, исполняя хозяйский долг, Роберт поил меня коньяком, который ставили ему в благодарность родичи за задержку своих на этом свете. Варил для меня борщ по-немецки и солил сало по рецепту, знакомому мне по Златоусту (так солила его мать тетя Амалия). У него тоже, как у нее, все получалось вкусно. Пить воду я, несмотря на жару, в Чикменте совсем не пил, холодильник всегда был забит дынями и арбузами.

В выходные он вывозил меня в злачные места, которые находились по жаре нестерпимо далеко на окраинах. Там в чаду сараюшек и навесов брюнетистые мужики колдовали над яствами тех мест. Узбеки творили плов, лагман, самсу, манты, чебуреки. Корейцы, которые здесь тоже были (кого только сюда не ссылали в падкие на репрессии целых народов сталинские времена) предлагали палящую перцем капусту и «хе» из собачатины под рюмку водки. Казахи накладывали в кису бешбармак из баранины и махан из конины. Нет, не случайно на этих «антисанитарных» пятачках было не протолкнуться. По мне, так «хе» и палящий корейский салат махан, на любителя, но вкуснее местного лагмана: чебуреков и мантов я нигде больше не едал.

В Чимкенте мой друг успел нажать в новом браке еще дочку с сыном. Старшие же, челябинского посева, за это время успели получить дипломы по проторенному родителями пути в Челябинском мединституте.

Грянул развал Союза, рушение всего нашего общего, и оказались мы в разных странах, Роберт из Ближнего перебрался в Дальнее зарубежье. В Чимкенте и в застойные-то времена закатной советской эпохи жить было беспокойно, неслучайно именовали его Диким Западом. Дети разных народов, обозленные ссылкой в эти не очень-то привлекательные для проживания места на Советскую власть, а попутно на все и вся, скалили зубы и друг на друга. После развала Союза и объявления суверенитета Казахстана силу среди прочих набирала «коренная национальность», была «хозяйин республики, стала хозяйин страны». В горделивом запале самости, стали гнобить инородцев, и пролегали их добровольно-принудительные маршруты на исторические родины. Матерински

открыла двери для своих кровных детей, а с ними домочадцев, и Германия. «Я бы вернулся в Челябинск, но кто я здесь, все места заняты, ни крыши, ни работы, вам самим тошно», — писал напоследок из Чикмента мой друг. Нет, никто его отсюда не гнал, не выдавливал, самый упертый в национальном рвении «хозяин страны» понимал, где-где, а в службе здоровья он не хозяин, а лишь пациент. Будь врач-казах, даже казах к нему не пойдет. Роберт был Врачом, и его уговаривали остаться. Но дети-то, дети как! Он выбрал будущее детей.

Чимкентские дети в Германии окончили немецкую школу. Дочь еще что-то парикмахерское и стала «мастером прически», вышла замуж за поляка, который взял их фамилию. Сын-последыш после гимназии, отслужив положенное в бундесвере, окончил «менеджмент» в университете и вполне вписался в германскую деловую жизнь. Из челябинских детей с отцом уехал старший сын. Советский диплом врача у него не признали, лишь лет через десять сочли возможным выдать патент на врачебную деятельность. Тетя Амалия сколько-то жила в Златоусте при старшей дочери, пока сын не переманил в Германию, где и дожила свой век. Сестра Роберта была почти готова перебраться на историческую родину, когда увезли туда мать, упорно изучала язык (со временем без знания «дойч» пускаться не стали), но так и осталась в Златоусте.

Недалеко от моих родителей покоится на Уреньгинском кладбище дядя Лева. Я до последнего встречал его в наездах на родину, он все так же, как в моем детстве, часто помаргивал и скороговорил так невнятно, что даже я далеко не все понимал. Много рассказывала мне о нем мама, в предпенсионные годы работавшая в медпункте на заводе Ленина. Отец Роберта со стройки ушел сюда на работу в тепле по столярному делу. Наведывался в медпункт часто, похоже, саднил пальцы нарочно, чтобы поболтать о нас с Робертом. Мама его совсем не понимала, но внимательно слушала.

Осталась в России и челябинская дочь Роберта, участковый терапевт районной больницы. Она оставила девичью фамилию, а у ее дочерей фамилия русская, по отцу-хирургу. В Германию в гости ездит, насовсем не хочет, Роберт даже просил содействия

убедить. Ее понять можно, здесь она врач высшей категории, а там кем ей быть? Старшая внучка Роберта от нее, тоже медичка, к Германии совсем не расположена, большая патриотка.

В Германии по специальности Роберт не работал ни дня, не взяли даже «медбратом» — «по причине незнания языка». Со временем он освоил «дойч на бытовом уровне», достаточном для работы таксистом, сколько-то подрабатывал, «чтоб нескучно было», в деньгах не нуждался. Содержат там бывших наших пенсионеров на совесть, аж не верится как: квартира, машина, материально ни забот, ни хлопот, пенсия на уровень выше нашей, хватает на все про все без всякого напряга. Кому ни скажи, не верят, но младшая его сестренка по уходу за матерью получала «пенсию» и пока не схоронила, жила на нее, а Роберт получал «пенсию» на детей после смерти супруги, их матери, пока не повзрослели.

Почти каждый год объявлял мне об очередном вояже, чуть ли не все европейские столицы объехал, был и в Израиле в гостях у Семы Хвошнянского. Отдыхал даже на Канарских островах, да-да, на столь знакомых по «Оранжевым канарейкам», заезженным на танцах в наши времена и на эстраде трио всемирно знаменитого клоуна. А живет «мейн фройнд» в Висбадене, да-да, в том самом, столь знакомом по русской литературе, там наши классики любили, лечась, отдыхать от российских забот. Только диву даешься, за какие такие заслуги разместили его жить на курорте? «Хорошо жить разве плохо?» — так он меня отсюда спрашивает. Кто бы сомневался. А какая у него дешевая «международка», заплатил сколько-то терпимо и трепись хоть сутки. Потому и в разговорах он не торопится, расспрашивает до мелочей, трепаться о которых в нашей платной связи и по городу накладны.

## Одноклассники

В «Педе», как и «Меде» были у меня одношкольники Володя Плечев и Борис Здохлов. Насколько упертым парнем был мой одноклассник Борис, можно и по фамилии догадаться. Конечно, советовали сменить на более благозвучную, он отвечал советчикам категорично: «Мой отец с этой фамилией кровь за Родину проливал, а я буду менять...», — и весь разговор. Смену фамилии

считал предательством отца, а это у нас по поселковым понятиям запахло. Облагородить фамилию он все же пытался, поэтому по классному журналу на переключке его вызывали то впереди меня — на букву «З», то позади — на букву «С». Уверен, он так бы и ушел на заслуженный отдых, не изменив отцу по фамилии, да жизнь-таки заставила, когда дочка пошла в первый класс.

Как обычно, поначалу знакомство, учительница представилась и пошла по классу между парт. «А тебя, девочка, как звать?» «Леночка Здохлова». Понятно, класс в хохот, первоклашки, а знали уже, что такое сдохнуть. И учительница поддалась общему настроению, известно, как заразен смех, покатила вместе со всеми. Бедная Леночка выскочила в коридор и отказалась в школу идти наотрез. Понятен накал семейного скандала: или фамилия, или мы с Леночкой. Пришлось Борису поступиться своей упертостью, изменить отцу в фамилии, и стали они Чернышovy.

Тщеславец, я всегда опасался в нем конкурента. Учил он все сознательно, полагая это наипервейшей обязанностью комсомольца, каковым был вполне искренне, но крупных постов занять не стремился. Конкурентом по отметкам, однако, также не стал, так как в круглые отличники принципиально не стремился, но в выпускной его медали серебро полновеснее иного золота.

После десятого Борис на сколько-то затерялся, и вдруг встречаю на проспекте Ленина возле «Педа». Оказывается, он здесь учится на «истфиле» — историко-филологическом факультете, то есть будет учителем истории, русского языка и литературы. Я, конечно, захопал глазами, в школе к гуманитарным предметам Борис был никак не предрасположен, скорее к математике. Уж где-где его можно было предполагать, только не в учителях да еще по таким «женским» предметам. Он и дальше не уставал меня удивлять: чуть ли не первым из моих знакомых вдруг взял да женился, его свадьба была первой, на которой я гулял, расписавшись за это в ЗАГСе в их свидетельстве о бракосочетании. Возможная причина столь ранних уз Гименея, вышеназванная Леночка, появилась в комнате общаги, которую молодоженам выделили задолго до диплома.

По окончании «педа» Борис, как и после школы, снова пропал. Оказался, и совсем не по распределению, а по доброй воле в Атлянской колонии, где учил несовершеннолетних преступни-

ков «женским» предметам. Приезжал в Челябинск на «Урале». Мощный и престижный был мотоцикл. Борис Чернышев в конце концов перебрался в Челябинск, стал преподавать в школе, а потом в альма-матер, на родном факультете. Подготовил и защитил диссертацию «по экономическому воспитанию школьников». Я писал о нем в газете, передовая была тема, в виде интервью с кандидатом наук Б. П. Чернышовым. Потом пропал снова. Общие знакомые сообщили, что уехал на своем мотоцикле в Ростов-на-Дону. Что, как и почему? Позвонил на квартиру, женский голос мне: «А он с нами не живет, ушел от нас». Из донского Ростова мой одноклассник уже не вернулся, весточки так и не подал. Боря есть Боря, как в школе, так и по жизни мужик непредсказуемый. Даже энциклопедия по педуниверситету не говорит о нем ничего после отъезда.

Володя Плечев удивлял меня меньше. Поступил на «физмат», все-таки хоть и в учителя, но предметы более мужские. В студентах не женился и в особых женских делах замечен не был, получил хороший диплом, потому и оставлен был при кафедре в аспирантуре. По окончании защитился без проволочек, сколько-то преподавал и вел «науку». И вдруг узнаю от Бориса, что Плечев перевелся в Москву. Хмыкнув, одноклассник пояснил: окрутил там дочку руководителя научной темы в высоком ученом звании, тот и перевел под свое крыло зятя. Не знаю, не знаю, Володя и без тестя в науке, по-моему, силен. Энциклопедия ЧГПУ (эта зловещая аббревиатура означает, что «Пед» нашей поры поднял статус и стал Челябинским государственным педагогическим университетом) указывает в «персоналке», что «Плечев Владимир Николаевич... С 1969 работал в НИИ (Москва), занимался порошковой металлургией».

## **«Благоустрой»-фото. Весна-58**

Почему-то у меня сохранилось лишь одно первокурсное фото. Весна Пятьдесят восьмого года. Ее венчает символ наших сплошных субботников — лопата. Держат ее Володя Лев и Коля Ляпин. Я рядом. Над одним моим ухом сын Героя Коля Собко, над другим, как всегда с улыбкой во все лицо, Эмма Факова. Над

Собко в берете, как и положено сыну художника (был известным в свое время), Олег Сабуров. Что-то смешное говорит в ухо Льву Николай Мирошников. Над ним высится Гена Барыкин. Точно в центре снимка при двух вышеназванных Колях и Сабурове Юра Корк. На него косится Витя Пасмакин. Первый «этаж» завершают Борис Осинин, как всегда в физических трудах, в добротных, обихоженных, крепких сапогах, и как всегда скептический уже бывалый Юра Соловьев. На завершении ряда Люда Строкова. Вот еще женское лицо — моя почти землячка (из Кусы) Мила Куванина, вообще-то имя у нее Эмилия, что для нашей заводской глубинки редкость. Рядом под кепкой угадывается Гена Сидоров. Здесь стоит задержаться. Единственный у нас преподавательский сын, Сидоров-младший, пошел по стопам отца. Кандидат технических наук, он и в новом веке преподавал в военном автомобильном институте, бывшем ЧВВАИАУ имени Ротмистрова. Знаменательно, что на снимке он при Куваниной. Оказывается, у него уже тогда был к ней интерес, который обнаружили в группе много позднее. В конце концов они стали супружеской парой. Ради Милы на фото Сидоров отвернулся от Бори Никуленкова. Ну а над ним остальные наши девушки: Людмила Грязева, Вера Филаткина и Бэла Лежнева.

Группа мужская. Девочки на снимке все в наличии, ребят две трети. Средний возраст — меньше 20-ти, кто старше, в наших глазах уже «старики» — у нас один такой Дима Каленик. То ли тогда еще не довлел пресловутый «рабочий стаж» (пара лет на заводе после школы), то ли при наборе в наши «спецгруппы» на это делалось послабление ради весомого аттестата, но «производственника» помню только Виктора Пасмакина. Остальные — после школы.

Медалями мы не хвастались, но едва ли не половина среди нас были медалистами. Остальные очень твердые «хорошисты», по знаниям кое-кто и медалистам не уступит.

«Блатных» (не уголовно, а по договору) не было, однако лишь Барыкин, Пасмакин и я в графе «социальное положение» писали «из рабочих». Сплошная «прослойка» — интеллигенция, преимущественно техническая. Пап-мам — оборонщиков за десяток: танкисты ЧТЗ, станкомашевцы, сороковцы.



Что из нас вышло, по крайней мере из тех, о ком знаю? Ракетчиками стали около половины, в большинстве распределились в Макеевский центр в Миассе, там и наиболее заметные из наших в этом деле: Корк, Собко, Владимир Жилияев, Осинин... Знаю, в Усть-Катав уехали Ляпин, Пасмакин, кто-то еще. Кто подальше, след совсем потерян. Разброс «изменщиков», вроде меня, очень велик. Больше всего преподавателей высшей школы: Каленик, Сидоров, Дорофеев, Вахрушев, кто-то из девчонок, на гражданке руководитель производства Гена Барыкин. Два литератора Борис Кудрявцев да я. Ну и атомщик Владимир Лев. Технической наукой занимались и стали кандидатами: Каленик, Дорофеев, Сидоров, Лев, Володя Жилияев (земля Дорофеева, тоже из детей ядерщиков Сороковки, занимался даже дирижаблями), говорили, еще кто-то.

Резюме: мы вышли из «альма-матер» и стали по жизни такими, как и рассчитывали плановики высшей школы тех лет. Кафедральные корифеи из первых наборов вспоминают, как сцепились в жарком споре «отцы-командиры» на первой кафедре факультета. Как натаскивать и выпускать инженеров, готовить узких специалистов или широкого профиля. Спорил тогда весь «политех» — и «преподы», и студенты. Победили «широкопрофильцы». Прежде всего, стране нужно культурное общество. Что бы ни говорили об отечественной нашей культуре, глубокие корни, тогда, конечно, были, но не в глубинке, и далеко не общество. Могу заверить, что в Пятидесятые годы Челябинск, хотя и славен был уже на весь мир как бастион индустрии и Танкоград, был еще большой деревней. И мы не ерничали, когда называли родной «политех» ликбезом. Это было совсем не уничижительно. Для большинства из нас «альма-матер» была не просто матерью, кормящей техническими знаниями, но и культурным ликбезом. Мы постигали азы культуры во всем ее многообразии, чтобы потом уже специализироваться по потребностям общества, по своим способностям уточнению в выборе дела жизни.

## **«Лучше гор могут быть только горы». Лето-58**

Горы — это первое значительное в жизни, что мне довелось увидеть. В Златоусте куда ни глянь, все на них натыкаешься. Столько их было, что я даже когда географию стал учить в школе,

никак не мог избавиться от представления, что весь белый свет уместился в айских долинах, зажатых золотоустовским семигорьем. Он вмещал все, что надо для жизни — улицы, огороды, школу, киношку и стадион. Ну а все эти дальние страны за горами только в книжках.

Признаться, кроме как в Уральских горах, ни в каких других всерьез я не был. Наезжал на Карпаты и Кавказ, Алтай и Саяны, Тянь-Шань и Хамар-Дабан, даже на японскую Фудзияму поднимался. Но приеду, полюбуюсь чуть ли не из автобуса и вниз — «в суету городов и потоки машин». Даже в забайкальской геологии не лазил по горам. Механику «геологоразведки» ходить пешком — лишняя трата рабочего времени, а нерабочего просто не было на хождение по тамошним горам.

И признаться, не манили меня чужие горы, на мою жизнь хватило Урала, ну не получалось у меня с горными иноземцами душевного контакта. На заре туристской юности пали мне в голову песенные слова: «Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет». Но не про родные горы будь это спето-сказано. Тут я «покорил» чуть ли не все «километровики», ну а заслуженные вершины не раз и не два, и если суммировать, так не одна и не две Джомолунгмы на моем счету.

Ходил я по горам походами в школе, тратил на них все свободные от «трудовых семестров» каникулы. Сохранился дневник похода Шолом — Яман-тау — Б. Сука́. Это всторое мое каникулярное лето.

*«Из Двойньшей совершаем восхождение на Большой Шолом (1426 м). «Шолом» — значит шлем. Нам представлялось, будто лезли на шлем Урала-богатыря, который врос в землю и охраняет богатства края, раскинув руки от Карского до Каспийского моря.*

*С Шолома видны в ясную погоду и озера Зауралья, и башкирские степи, и Юрма. До Плохой горы Яман-Тау от Двойньшей два перехода дошли уже летом. Оказалось, гора совсем утонула в болотах, а вершина торчит из тундры. Пружинистый мох по колено. Поля дикого лука, жесткого, с едким вкусом. Над редкой травой чуть-чуть возвышаются карликовые березки, крученый-верченый можжевельник-страланник. На вершине пронзительный ветер заставлял забыть, что сейчас середина лета. Среди кам-*

ней кое-где голубеют лужи, белеет снег, оставшийся с зимы, он, наверно уже не сойдет.

В пустых бутылках из-под кефира под геофизической треногой целая библиотечка записок. Все укоряют Яман-Тау за негостеприимство — в январе встречается бураном, летом — грозами. Они здесь страшны. Нам Плохая гора улыбалась, но какой суровой, негостеприимной была эта улыбка. Еле-еле хватило нас нацарапать в кефирную библиотечку о себе, скатились в тундру, промерзли насквозь. Солнце еще сползло вниз по западному склону, а по восточному уже карабкались сумерки.

На хребет Машак с Яман-Тау продирались через буреломы и травяные джунгли. Трава в полтора роста, кислица, чемерика. Перевалив через Машак у его наивысшей точки (1300 м) и попутно покорив ее, спустились в долину Юрюзани и пересекли узкоколейку из Катав-Ивановска в Белорецк (разобрана после этого давным-давно) в заводском поселке Верхне-Аршинском. Из него направились напрямик на Иремель по азимуту. По карте совсем рядом — самое большое тридцать километров, три речушки и перевал. Но «гладко было на бумаге да забыли про овраги», все тридцать километров мокро снизу и сверху — болота и дожди. Почти круглосуточный мокросей, и ни одной крыши на пути. Лес ежился в серой дымке, над ним иногда из туч выплывал Иремель. Уверены, что гора — полюс дождей.

На «полюсе дождей», на что-то надеясь, часа два просидели под скалами, прячась от небесного душа, вроде нам не привыкать, но разве к нему привыкнешь. Успокаивало лишь то, что мы не первые, отметившие восхождение на Иремель так неоригинально и бесполезно, были на вершине и ничего не видели.

В иремельской тундре отдалась во власть какой-то тропки. Она вывела на деревню Тюлюк.

Остановились в избушке смолокурни. Для нас дворец, главное, крыша не протекает, и никто нас не выгонит отсюда. Только на четвертое утро по небу поплыли куски лазури, солнце стало лизать теплым языком промокшие леса. Мы проснулись и возликовали, можно в путь.

В какой уже раз нам пришлось форсировать уже взвешуюся в печенку Юрюзань. Река здесь не оправдывала названия Быстрая,

*Стремительная. Мирная и даже величавая, она хмурилась в тени заводей, смеялась на перекатах. Солнце бросало в нее здесь горсти огоньков. Но стоило войти, как пришлось переломиться, чтобы опереться на передние конечности. Нет, название у реки не зря, силища, скажу я вам. Вятером, держась за руки, с большим напрягом достигли противоположного берега.*

*За умирающей деревишкой Петропавловкой глухой тропой, больше наугад, пробивались к хребту Сука́. На вырубках розовел иван-чай. Сколько трав со «звериными» именами: кукушкин лен, медвежье ухо, вороний глаз, заячий овес, а под елями кисленькие листочки заячьей капусты. Все цветет по-своему, все по-своему пахнет. Хребет Б. Сука — настоящая колыбель рек, на каждом шагу родник, на каждом шагу ключ. Впечатляет, конечно, но каково идти.*

## **Футбольный строй. Весна-59**

После турснимков лета-58 в моем домашнем фотоальбоме мелькают уже сплошь новые лица. Потому что я решился на знаковый по жизни моей шаг. Убоявшись после спецфакультета работы в «почтовом ящике», а того хуже за колючей проволокой в каком-нибудь «голубом, закрытом городке», вроде Сороковки, я решился на перевод на «гражданский» факультет и «открытую» специальность. Сыграло свое, что отец-гаражник и работу здесь я представлял и не только на «номерный», но и «гражданский» завод не манило.

Вот и выбрал я Автотракторный факультет, гаражную специальность «Эксплуатация автотранспорта». Такое совпадение, начинал я в группе МТ-138, а тут оказался в группе АТ-338, разница лишь в аббревиатуре факультета. Кафедра вскоре уже получила современное название «Автотранспорт», «завкафом»<sup>1</sup> был Лев Григорьевич Анискин, с которым я пробыл все мои оставшиеся политехнические годы и в студенчестве, и в ассистентстве.

«Перебирая поблекшие карточки» автотракторной поры, остановлюсь на спортивной. Она более различима, чем другие и на ней основной «контингент» нашей группы. Ко времени снимка я

<sup>1</sup> Завкаф — заведующий кафедрой (студенческий сленг).

уже обтерся в коллективе и меня признали своим. Уже курс как мы изучали спецдисциплины (не секретные, а просто автотранспортные). Овладевали «практическим вождением автомобиля», и только что получили водительские права. Вскоре после запечатленного на снимке выхода на матч с тоже «эксплуатационной» группой АТ-339, нас отправят на шоферскую практику, где было нам и нашим авто на орехи с нашими «майскими» правами. Но пока на снимке солнечно и безмятежно, мы даже еще не испытали поражения, на которое обречены в этой игре.

Правофланговый на снимке — капитан команды, как и положено, наш староста Иван Федотов. Снова совпадение, в МТ-138 старостой был уволенный Хрущевым в запас лейтенант Каленик, Федотов тоже был из принудительных лейтенантов запаса. Как и его сосед по строю Сергей Владыкин, судя по месту в строю и кепке на фотомомент — вратарь. По соседству закусил губу в ожидании футбольной схватки Юра Румянцев, через пару лет разделивший мою участь механика геологической партии по распределению. В отличие от меня он останется в этом ведомстве и уйдет на заслуженный отдых с поста начальника чуть ли не главной авто- или мехбазы всего министерства геологии. Косит в сторону единственный стриженный под ежик и в гетрах его неразлучный друг и великий шкода, мой «земеля» и однокомнатник в общежитии Жорка Чернявский. Он распределился, на удивление всем при его-то баламутстве, в автовойска, и ушел в запас при погонах с двумя просветами. В запасе возглавлял станцию техобслуживания в Тольятти. Трет подбородок в размышлении о ходах на поле брани наипервейшая жертва жоркиных приколов Рудик Рыжик (это не кликуха, а фамилия). Рудик единственный из нас голоног и беззащитен от вражеских «подков», не в пример соседу, у которого под гетрами угадываются даже щитки. Парень он воинственный, потому и зовется генерал Ю-Вань, потому что Юрий Ваньков. Единственный, о ком из наших я писал потом в газету и не только, но и по его заказу «работал» рекламный буклет. Ваньков организовал, и долгое время возглавлял первую в городе и области фирму «Автосервис».

Сосед со мной схож дыбом волос (литературное мое псевдо в «Оазисе Дыбовласов»). Обнаженный торс и семейные трусы,

подкрученные с боков, хотя и опасения женских взглядов нет, и подобием гетр (это длинные носки, тоже подкрученные, чтоб не спадали). Это я и есть. Серьезно смотрит в объектив Боря Тимофеевко, он всех удивил тем, что не успел отработать диплом, из автохозяйства перебрался в мастера на радиозавод. Самый большой «эгоист», современно, так абсолютно некоммуникабельный, и лентяй Володя Митус, и тут смотрит не туда, что все. Лодырь-то лодырь, а закончил неплохо и уехал в свою Прибалтику. Голубоглазый красавец, злодей по женской части, Арьяка (по паспорту Аарон) Минц — самый нетипичный еврей, что я встречал. Отчаяга, с таким в разведку можно. Достаточно сказать, что по распределению выбрал якутские прииски, где ему выдали наган, иначе не выжить. И один из немногих, что остался у нас, хотя и родичи все уехали. Он их навещает, а заодно и бывших наших и потому мы в курсе их дел. На левом фланге еще красавец, но уже восточного склада Миша (Моисей-Моше) Фрум. Очень смешливый и компанейский, он составлял трио с Румянцевым и Чернявским. Про этого не знаю, как-то сумел устроиться вскоре в столице (!) и даже был начальником автобазы ВДНХ.

На описании матча место поберегу, лучше не писать, раздолбали нас, причем не без моего участия. Нет, в свои ворота бог миловал, но играл так погано, что пылкого генерала Ю-Ваня от меня пришлось оттаскивать. Уделю это место тем, кто не попал в футбольный строй. Восстанавливаю из полного состава (кто дошел до дипломного финиша) — выпускном снимке. Здесь в первом сидячем ряду наши «дамы». Мне всегда «везло» на мужские колллективы, вот и на снимке из трех «дам», одна наша «классная мама» Бронислава Алабина, «англичанка» с кафедры «иняза». Симпатичная, компанейская, супруга знаменитого институтского легкоатлетического тренера. Так что однокашниц только две. Валюша Куфель, между прочим почти мастер спорта по лыжам, помнится, в ее «гардеробе» всегда было что-то в клеточку, как и на этом снимке.

Большеглазую (я называл «глаза удивленного котенка») Римму Назарову на последнем курсе взял в жены мой другарь и тезка Юрц. Объявился у нас из Таджикистана, черен как смоль, раскос, может, мать таджичка. «Радиогений», на него был в «Кадрах» по

соседству со мной шарж со словами: «Опроведенный, обнаушенный, оседлавший высотный стул, радиостудии самый нужный, Саша Юрц всегда на посту». Он вел вузовский радиоузел. Ушел с Риммой в «препы». Валю Куфель подпирает левым плечом Валя Достовалов. Как и Чернявский, он пошел в военные автомобилисты и хорошо пошел, приезжал полковником-командиром крупной авточасти. Во втором ряду Володя Демин самый высокий, он и в группе такой «достань воробышка». Лицо у него в шрамах, один из лучших мотогонщиков «политеха», а это сплошные травмы. Наша группа настоящий интернационал. Рядом с Деминым казах Булат Карманаев, он ушел на ЧТЗ и там стал начальником крупного цеха. Со мной рядом Леша Сокирян, нет, не армянин он, а молдаванин, по паспорту Сокиряну. Какой-то особы, тем более молдаванской (по песне, «смуглянка-молдаванка собирала виноград»), парень как парень, светлоглазый шатен. Женился на последнем курсе и прожил в мире и согласии до последних наших юбилейных встреч уже в новом веке, как и проработал автохозяйстве, в которое распределился после диплома. Кстати, все остальные, о чьей работе по ходу снимков умолчал, тоже служили на автотранспорте.

### **«Нос с горбинкой, опущенные скулы...»**

Это не приметы из розыскного досье преступника и вообще не о человеке. Это о танке, единственном из боевых машин, который можно сегодня увидеть в Челябинске. Он стоит на Комсомольской площади неподалеку от Челябинского тракторного завода. Танк возведен на пьедестал, он — памятник.

Это последняя — тринадцатая модель, созданная в годы войны. Лучшая. По совокупности огневых, технических и тактических качеств танк именовался «машиной прорыва». Мощнейший, безотказный двигатель, надежная ходовая часть делали его вездеходом. Башенного орудия такого калибра не имел ни один танк мира. Его снаряды пронизывали или раскалывали и броню, и бетон укреплений. Сам же сухопутный броненосец был почти неуязвим для вражеских снарядов. Вот и посылали челябинского богатыря на прорыв. Неодолимый, он шел напролом, взламывая оборону

противника. Его так и называли — «Победа». А еще его называли «Иосиф Третий» (конструкторское обозначение «ИС-3»).

Мне хорошо знакомы творцы памятника на Комсомольской площади. «Скульптор» М. Ф. Балжи. Беру в кавычки слово «скульптор», ибо машина «живьем» стоит на пьедестале. Машина своим ходом подошла к вечной стоянке. Говорят, танк и сейчас на ходу. Залей в баки горючее, нажми на стартер — и заурчит, оживет его стальное сердце. Я хорошо знал Михаила Федоровича почти десять лет в стенах «политеха», он в это время на Автотракторном факультете был деканом и зав. кафедрой.

Судя по фотографиям в свою военную, звездную пору, он был улыбчив, подвижен и кудряво-пышноволос. Я застал его уже приземистым, полноватым, с зеркальным теменем, густо обрамленным кудрявым, крепко побитым сединой венцом. Балжи был бесменным до меня и после меня заведующим танковой кафедрой, замаскированной под «Гусеничные машины».

Сколько помню, «балжиская команда» занималась гидротрансмиссией, очень модной в свое время конструкторской темой. Уже из посмертной биографической справки узнал, что Балжи «со товарищи» разработал-таки «оригинальную схему инерционного бесступенчатого трансформатора». На базе этой схемы были созданы трансмиссии нескольких челябинских тракторов и миасского грузового вездехода, но звездным делом его богатой жизни было творение модели «ИС-3». «Родители» не случайно дали такой детективный портрет своего детища: «нос с горбинкой, опущенные скулы». В танковом нутре были нововведения, улучшающие его ходовые и боевые качества, но отличался он прежде всего силуэтом. На орудийном стволе — глушитель, потому и «нос с горбинкой». «Опущенные скулы» потому, что конструкторы как бы приплюснули башню, притопили ее корпус, уклонили ее бока — «скулы». Чтобы снаряды рикошетили, соскальзывали с брони. Причем толщина брони была разная, наращена в местах возможной уязвимости. «Скуластость» более чем в два раза увеличивала противоснарядную стойкость.

Идея нового броневоего мастодонта родилась у Балжи в августе сорок четвертого года, и уже в октябре опытный танк грохотал по Бродокалмацкому тракту на ходовых испытаниях. Два месяца от



идеи до обкатки! Не верится! Смотрины в Москве. Главный танкист Красной Армии генерал Ротмистров в шеренге новорожденных боевых машин сразу же нацелил свои интеллектуальные очки на челябинского «Иосифа Третьего». Танк представил Балжи. «Вот такая машина нужна армии!» — одобрил Ротмистров. Новые, уже московские испытания и последняя доводка. В начале сорок пятого года танк пошел в серию.

И вот уже эшелоны с новой бронетехникой идут прямым ходом в Германию, фронт уже здесь. «Кировские танки идут на Берлин» — так озаглавлена статья главного конструктора Духова в заводской многотиражке. Не успели. Берлин капитулировал до их прихода. Летом эшелоны с челябинскими танками пошли на Восток. Им выпало громить Маньчжурскую армию японцев. Танку ИС-3 «Победа» была суждена долгая армейская жизнь, и десять лет спустя он еще рассматривался как мировой эталон тяжелого танка. За разработку ИС-3 М. Ф. Балжи был удостоен Государственной премии СССР.

В 1948 году главный конструктор на ЧТЗ и зав. танковой кафедрой в ЧММИ Н. Л. Духов был переведен в Москву. Он стал главным конструктором атомной бомбы главного ядерного объекта страны, ныне известного как Арзамас-16. М. Ф. Балжи сменил его на посту главного конструктора ЧТЗ и на кафедре гусеничных машин.

После полного перехода в Политехнический институт в Пятьдесят третьем году Михаил Федорович до своей ранней кончины работал на Автотракторном факультете. Последние пять лет своей жизни был деканом, уже второй срок. Здесь стал доктором технических наук.

## **«Пионер-эксплуататор»**

Во второй половине Пятидесятых годов, одном из звёздных часов АТ-факультета, столь богатом на события и яркие личности, приметны были здесь два «эксплуататора» — Валерий Прокопьев и Геннадий Петраков. На общественном и спортивном небосклоне они звёзд не хватало, но были весьма авторитетны. Друзья были схожи — высокие, статные и «моторные».

Прокопьев с Петраковым из 31-й группы, между прочим особой, хотя и отнюдь не элитного спецпрофиля. Это была «пионерская» группа по специальности «Эксплуатация автомобильного транспорта», во все времена она была самой «демократичной» на факультете. Большинство из студентов писали в анкетах — «из рабочих и крестьян», АТ-131 была преимущественно крестьянской.

Дружная была группа и, скажем так, — упорная. Крестьянские парни, они и делали всё по-крестьянски — добросовестно, как говорится, до седьмого пота. Конечно, подогревало их — да, мы сельские, но городским не уступим. И не уступали. Старостой группы был Прокопьев, и был он в деканате на хорошем счету.

Деловые были ребята, практичные. Особо отметились уже на первом курсе. Тогда «Планета Целина» светилась в полнебосклона молодежной жизни. Патриотизм был велик, каждый молодой хотел участвовать в событии века. Группа отличилась тем, что написала коллективное добровольческое письмо — «Посылайте на целину всю группу!» И послали — на Кустанайщину. Вот где сельским парням пригодился опыт детства и юности. АТ-131 — единственная в «политехе», городе, а, может, и стране группа, где все до одного были отмечены престижной медалью «За освоение целинных и залежных земель».

Друзья — приятели были приметны не одним общим делом. Тогда на факультете еще плохо было с «материальной частью», легендарная полуторка военных лет ЗИС-5 ещё была «учебным пособием». И вдруг заруливает на «теплотехнический» двор, где обосновались «эксплуататоры», студебекер — «студик». Тоже машинёшка военных лет, американцы поставляли нам по «лендлизу», но вполне на ходу. Кто из атешников тех лет не помнит это «чудо техники», я так хорошо помню.

«Студиком» обогатили «материальную часть» родной кафедры Прокопьев с Петраковым. В родных местах последнего, чей отец был человеком не последним, после войны стояла воинская авточасть. К середине Пятидесятых годов она исчезла, оставив «кладбище» автотехники, в том числе и «лендлизной» — американской. Друзьям — приятелям дали разрешение вернуть к жизни пару «кладбищенских» машинёшек. Взяли помощников из группы и через месяц с небольшим, снимая со всего, что можно, собрали

и вернули к жизни «студик», и самоходом, нагрузив запчастями, двинулись в Челябинске. Говорят, была картина. Встречные шоферы рты разевали и закрыть забывали на это чудо-технику. В кабине за баранкой шофер, как положено, а в кабине, что в кузове — ещё один.

Практичные ребята и дипломные задания выбрали с отдачей. Прокопьев, к примеру, разработал проект реконструкции Копейского авторемзавода. Сюда его и направили по распределению претворять проект в жизнь. Претворять начал с первого дня и уже через полгода стал начальником техотдела и получил квартиру, что по тем временам было невероятным событием.

А как их пионеры-однокашники? Разметало их распределение от Урала до Тихого океана. Двое уехали аж на Сахалин, пятеро — в Якутию. И ничего — не роптали и, как говорится, до конца исполнили свой инженерный долг. А наши друзья-приятели? Родная кафедра отправила их в аспирантуру в головной автодорожный вуз страны — МАДИ, что в Москве.

В Москве пути — дороги друзей разошлись. Геннадий Петраков оказался в Ленинграде, где со временем стал одним из руководителей дизельного института (ЦНИДИ). Валерий Прокопьев вернулся в альма-матер. Помимо кандидатского ученого звания он привез и тему, которая со временем стала основой одной из наших научных школ, а также вузовско-академической лаборатории «Триботехника» Уральского отделения РАН, которую он возглавил. В 1986 году по московской теме В.Н. Прокопьев защитил и докторскую диссертацию.

В 1976 году Валерий Никифорович возглавил и более четверти века руководил родной кафедрой, и на это время приходится наиболее яркие её десятилетия. На 65-летнем юбилее факультета мы балагурили с ним о Пятидесятых в декабре, а в начале нового года, как обухом по голове, прямо на кафедре.

## **Шоферская практика. Лето-59**

Вот где мы хлебнули мурцовки! Когда говорят об освоении «планеты Целина», я гордо киваю головой — «и я ее лягнул». На третьем курсе мы изучили устройство автомобиля и прошли

курс вождения под началом дотошного и ехидного Четина. Эх, и наслушался я от него про себя всякого. «Руки — ноги в мешке, а голова, только чтобы есть» — это одно из самых деликатных мнений о моих шоферских способностях. В конце концов, мы получили «майские права» (старики помнят, как к ним в гараже относились) и «с корабля на бал» нас направили на два месяца закреплять шоферские навыки на практике в Урицкий район Кустанайской области. А заодно и помогать целинникам собирать песенно богатый урожай.

Урожай-59 был и в самом деле пребогатый. Сравнить с рядовым мы не могли, доверялись мнению опытных хлеборобов и своим глазам. Урожай был у нас на глазах в прямом смысле слова, под открытым небом. Много чего уже понаставили на целинных землях к нашему времени, но далеко не все намеченное. А такого вот целинного урожая просто никто не ожидал.

Никогда больше не видал такой сказочной и печальной картины. Пустыри, а на них горы зерна. В ведро они радуют глаз, золотясь на солнце. В ненастье даже брезента накрыть эти горы «целинного золота» от дождя не хватало, и над зерном стояла синева, зерно «горело». Как на грех, та страда была на редкость ненастной. По крайней мере, солнышка я что-то не помню.

Недельки две мы слесарили на Урицкой автобазе, квартируя у хохлушки, которую понимали через слово. Здесь много было украинцев, оказавшихся на кустанайщине в начале прошлого века, вовлеченных в «великое переселение народов» за Урал по столыпинским реформам. В них сильна была память о «ридной неньке Вкрайне» и в «мове», и быту. Наша квартира была настоящей хатой. Под соломой, сложена из самана, пол, битый глиной. Все внутри и снаружи белено на разные тона. Все плетеное — плетень, стайка и сенки обмазаны глиной.

Поначалу мы слесарили, ожидая авто. Наконец, пригнали штук 200 из нашего Миасса, прямо с конвейера. Новая модель Урал-355-М. Кабина штампованная, потому и в отличие от деревянной старой «фанеры» назывались «штамповкой». С неделю техобслуживали эту автоновью, готовили к битве за урожай. Шоферов и слесарей, кроме нас почти не было, а огрехов до черта — спешили миассцы выполнить задание партии и правительства, успеть к

уборке урожая. Ночью охраняли «земляков» от несунув. Память хранит огромный загон автоновья. Никогда не нюхал я потом столько запахов свежих красок, резины и дерматина сидений. Задерживали, но кое-что и проворонивали.

«Потом» перегоняли «авто» из райцентра в хилый поселок Коскуль, где они должны были стать основой местной крупной автобазы. Небольшой казахский аул целина преобразовала в крупный поселок даже не просто совхозный, а с городской примесью. Тянули мимо железную дорогу Кустанай — Целиноград (при казахстанском суверенитете вырос в столицу Астану), и быть стало положено аулу станцией. «Мы вели машины», пригоняли и ставили на пустыре, огороженном колючей проволокой — завтрашной автобазе. Здесь же разбивали огромные армейские палатки под мастерские (никогда больше не видел таких просторных), собирали финские щитовые домики под контору и мастерские.

Мало — помалу перегнали в Коскуль земляков-миассцев. Выбрали из них, что приглянулось. Я свою «ласточку» конкретно не помню, да и что помнить — все на одно лицо, одним словом «штамповка». Но запахи, запахи... Свежей краски, дерматина сидений в кабине, резины, автола, нигрола, тормозухи, обкатываемого, «обгораемого» движка. Ах, этот букет автозапахов! Я и сегодня могу его восстановить в памяти.

Мы ведь дневали и ночевали, в основном, в кабинах. Определили нас на постой к казахам, они гостеприимно выделили нам «кочму» на полу, подушки и ватные одеяла. Они блестели от длительного потребления, как промасленная роба. Самое страшное, что помимо нас здесь квартировал полный набор домашних насекомых, которые, если и не кусали каждое на свой лад, как клопы, блохи, то имели обыкновение, чуть стемнеет, устраивать по подушкам напрямик через наши головы бега, как безобидные на кусание тараканы. Понятно, что мы чаще всего обижали наших гостеприимных хозяев ночевкой в кабине. Лишь самая богомерзкая погода — холодрыг загоняла нас на «кочму».

Они нас уважали как самых настоящих шоферов. По-моему, до нас в Коскуле, вообще машин не было, одни лошади. Стола, как и всякой иной мебели у них еще тоже не полагалось. Хозяева

относились к ней, как Хрущев в свою пору к архитектурным излишествам. Жилье — совсем немудреное и нестойкое строение. Однажды, на калыме сдавая «ласточку» с сеном на задворки за дом, я задел угол так называемого дома, даже не бортом — возом. И угол отвалился. Что впрочем, не рассердило и даже не расстроило хозяев. Дыру тут же заткнули подушками и всяким тряпьем.

В полуразвалине в нашу честь был устроен той. Заходим в «дом», а на полу ковер, на ковре простыня. На подносе гора румяных лепешек. Водка. Вокруг, ноги крест-накрест, казахские мужики разного возраста. Женщин ни-ни. Рукава у всех за локоть закатаны.

Опрокинули за знакомство, зажевали лепешкой. И тут заносят поднос с бараньей головой. Хозяин подвигает мне. И не казаху понятно, оказывает честь гостю. А голова совсем неаппетитно, даже зловеще, скалит зубы. Стараясь не глядеть, наугад что-то отщипнул и поскорее подвинул голову к соседу — аксакалу. Все одобрительно закивали головой. Попал в точку. Оказывается, гость и не должен глодать голову до конца, а передать ее самому престарелому и уважаемому за столом. Ну а тот далее по кругу.

А что же есть-то кроме оскаленной головы будем? Не берите в голову, будет вам. Заносят блюдо, в котором обычно стирали и детишек купали в наше время. В нём густо парит и вкусно пахнет мелко крошеное жирное мясо. Хозяин, видно, зная, что русские кониной брезгуют, успокоил. Мол, не махан, а бешбармак из барашка. А чем есть? Ни ложки, ни вилки. Кошусь взглядом по кругу. Замечаю, сосед-аксакал запускает пятерню в блюдо и в рот. Жир по руке течёт, он слизал его, пошамкал мясо беззубыми деснами и по-новой. За ним другие. Так вот почему у них у всех рукава за локоть закатаны. Деваться некуда, и мы пятерней в блюдо, жир с руки языком. Ничего, не совсем гигиенично, но вполне удобно и вкусно. Потому и название, «бешбармак» и означает «ешь пятернёй».

Утром просыпаемся, дыры в углу уже нет — заложена саманом.

Выпустили нас на линию. Хлеб из-за ненастья не дошел до спелости, и нас поставили на перевозку разных грузов на местные стройки — гравий, кирпич, цемент, песок. На карбюраторе, по-

нятно, ограничитель, именуемый шоферней «по-девичьи». Чтоб особо не гоняли новые машины, движок не перетруждали, пока не обкатается. А то разгонишь обороты, он перегреется, заклинит и «кулак покажет» — шатун пробьет блок. Движку конец, тебе... Да и не покажет если «кулак», так все равно перегретый движок не работник, мощность полную уже не потянет. Так что не надо снимать ограничитель, пока не набегаешь положенные километры.

Впрочем, мы и без ограничителя не лихачили. При тогдашней дорожной размазне попробуй-ка разгонись. Самые экстроклассные дороги были здесь автогрейдеры. Насыпали полотно, планировали, но насыпали-то, в основном все ту же глинистую почву, что по соседству. И потому в ненастье грейдер был опасней обычной грунтовки. Сползёшь с него как по маслу в кювет и сиди — кукуй, пока трактор не подгонят. Полсуток иной раз загораешь! На грейдере круглосуточно дежурили трактора для печальных надобностей — ЧП, но, а также для проводки автокараванов на сцепке сквозь грязевые заторы подобно ледоколу. На такой трассе никто не застрахован. Толя Тюленев, к примеру, опытнее многих из нас, шофер со стажем, а сделал вертушку. И мы убедились, что «фанера» все-таки надежнее «штамповки», кабина-то всмятку. Толя под баранкой только и спасся.

«Ласточка» моя бегала ровненько, но имела один существенный изъян — масло гнало в задний сальник из движка. Менял, конечно сальник, и не раз, но там, похоже, не в сальнике беда, заводской дефект. Так и ездил с ведром автола. Попробуй-ка забудь! Вынешь щуп, а в поддоне уже ниже критической метки. Того и гляди, подшипники поплавишь и жди «кулака в бок».

За практикантские недели каждый из нас испытал не одно приключение. Все не припомнишь, да лучше и не вспоминать. Из моих самое чувствительное, как я чуть не сыграл в Ишим. Речонка эта переплюнуть, но пробуровила себе русло в мягких целинных толщах преглубокое. Прямо-таки каньон американский. Из-за вечной болезни моей «ласточки» отстал я, как обычно, от нашей колонны, подливая масло в движок. Нам крепко-накрепко было заказано двигаться по — фронтовому, колоннами. Мало ли что. Со мной и вышло это мало ли что, потерял ребят из виду и заплутался. Ну и завела меня дорожка к самому Ишиму.

Петляла — петляла по обрыву, пока не подвела к селеньицу. Ну, думаю, теперь найдусь. Найдешься тут, на пути машинный двор, и впереди техника, ни пройти, ни проехать. Надо поворачивать оглобли на объезд — сдавать назад и разворачиваться. Вылез осмотреться. Не выйдет, может, бывалый шоферюга и выкрутился бы, но не я. Прошел вперед. Техника, в основном прицепная — жестяная. Пошатал — легкая. Огляделся я — ни души. И была не была, тихонечко-легонечко стал подавать «ласточку» вперед. Дверца, конечно, открыта. Нас бывалые водилы прежде всего наставили, когда не лады, надо вот так вот. Чуть что — пулей вылетишь. Катапультиться мне не пришлось. «Ласточка» с натугой, но пробилась. А техника? Сколько-то жестяных единиц сыграло вместо меня в Ишим.

Засерел впереди свободный путь, выбил я передачу на нейтралку, затянул ручник и вывалился из кабины. Смотрю, руки дрожат, и всего бьет, мокрый весь, значит, цыганский пот прошиб. Слышал о таком, оказывается, есть такой и в самом деле. Огляделся. Удивительно, день в разгаре, а в селе — ни души. Будто вымерло все. Это в меня вдохнуло жизнь. Ноги в руки и подальше.

Ну а вскоре и практике конец. Передал я по акту «ласточку» Миколу — водиле со Станиславщины. Порылся я в своей географической памяти, свежа еще была со школы. Ну нет такой области на Украине. А он мне: «Та то ж Иванко-Франковщина по-москальски». Верно, есть такая область на Западной Украине, по-ихнему, Західной. Вывозить стопудовый урожай в Коскуль прибыло с сотню «захидников». Без машин, с расчетом на «штамповки», что мы пригнали из Урицка. Калачи тертые, водилы бывалые, но землякам нашим — стальным лошадкам от того не стало легче, чем с нами. Рвачи! В погоне за карбованцами они себя не жалели, машины тем более.

## ЮГинз

У меня он ЮГинз, потому что Юрий Гинзбург. Когда ж это я стал вхож в их дом? Похоже, на четвертом курсе, когда уже обжился на Автотракторном, где он шел на пару курсов после меня. Тогда я вел в комсомольском факбюро печать, под нача-



лом Льва Борисовича Гарифулина мы начали раскошегаривать «факультетку» — стенгазету «Конструктор». Югинз и стал моей правой рукой, ведущей всякий «развлекаж», в котором был он превеликий мастер, великий словесный озорник.

Конечно, мне повезло на него. Были у нас с ним еще и «Кадры», ах, какие мы совместные репортажи разворачивали, и в областном «Комсомольце» вели студенческую редакцию. Вместе время проводили семестровое и каникулярное, баламутили и очень в унисон.

И вот я у них уже свой, и мне у них совсем по-домашнему. Юрка уचाщал мой ход сюда тем, что во все времена был жестоко истязаем хроническим гайморитом. Гены южных предков никак не соглашались с нашим климатом, хотя и Южный наш Урал, но даже Северному Кавказу он ни в подметки. Нос моего друга приходил в порядок только на югах, потому и вывозили его сызмальства в спасительные для него Гудауты. Да-да, в тот самый городок, где обосновалась в Девяностые годы власть «самовозглашенной» республики Абхазия, когда с помощью чеченского батальона Шамиля Басаева и других российских добровольцев грузин выгнали из абхазских пределов. Будучи с Юркой в Гудаутах за три десятилетия до той большой крови, мы уже твердо знали, что для них добром у них не кончится. Апислы (так они себя называют) уже тогда рвались в Российскую Федерацию, и что говаривали нам про грузин кунаки Ромка Гобелая и Алик-спасатель, я написать постесняюсь. Апислы были ради нас и тогда уже из России на все, но приверженность моего друга к Гудаутам была не только и не столь в них.

Здесь проживал его дядя Яша, по возрасту скорее дед. Юрке он ежелетно резервировал закуток на веранде. При сезонном дефиците помещений это кое-что да значило. Закуток был вполне достаточным, чтобы в нашей совместной поездке здесь разместился и я, конечно, уже не за так, как мой друг. Дядя Яша был без помарки сед, с постоянной каплей на носу, но в четком еще сознании и памяти. Супругу звали Марией Ивановной, она была уже слепой, но держала себя очень по-дамски и при таком неудобстве. По крайней мере, ногти постоянно поддерживались в ухоженном виде не только маникюром, но и педикюром. В царскую пору была она

супругой офицера российского военно-морского флота. И можно представить себе молодечество и мужскую статью коммивояжера, иудея Янкеля Гинзбурга, который под страхом смерти (такой позор и оскорбление на флоте смывались кровью) увел у военмора жену из-под носа, из «Владика» — Владивостока умыкнул на другой край России в Варшаву.

Юрка возил меня в Гудауты к дяде Яше после защиты диплома перед ссылкой «во глубину сибирских руд» для отработки диплома и в один из геологических отпусков. Кунаков наших во второй приезд уже не было, Ромка служил, Алик куда-то подался, и мстительные грузинские молодцы припомнили нам какое-то прошлое, незамеченное нами непочтение, а, может, дружбу с враждебными им Ромкой Гебелая и Аликом-спасателем. Нам пришлось по мудрому юркиному решению (знал на себе грузинские нравы) бежать первой же электричкой в Россию за пограничную речку Псоу. Я в рваной рабашке-«распашонке», грузины, удерживая меня за нее, сумели-таки распластать, что и спасло меня от расправы, пришлось в Сочи покупать новую. Здесь мы и доотдыхали в безопасном спокойствии.

Морские соли и гудаутский горячий воздух загоняли гайморит вглубь юркина организма, проклятая носовая хворь смирела на сколько-то, но затем в нашу промозглость возвращалась и нагнала до невозможности, укладывая моего друга на недели в постель с полотенцами (!) для сморкания, доводя до зверского прокалывания носа и выкачивания скопившихся гадостей. Юрка держался молодцом, принимая гайморитство, отвечая на мои соболезнования стойчески: «Должен же я иметь физические недостатки и хоть такую кару за свои прегрешения».

Любил я навещать больного. Болтать с ним одно удовольствие, лучшее из совместных писаний мы напридумывали в его гайморитном лежании. Что таить, была и корысть. Ах, какой усладой для моего желудка, стосковавшегося по домашностям на студенческом абонементстве были даже будничные котлетки хлебосольной-юркиной мамы Виктории Самойловны. Одно плохо, после них мой желудок по возвращении в общежитскую «обжираловку» не хотел воспринимать местные блюда съедобными.

Виктория Самойловна, и дома тщательно зачесанная и свежеедетая, как ни приду, всегда была при поверженном гайморитом

отпрыске дома и все что-то готовила. А ведь она ведала крупным и хлопотным хозяйством Дворца пионеров на Алом поле. Может, потому часто и совмещала служебные хлопоты с заботой о сыне, рядышком, проспект перейти, что я поначалу пытался соблюдать приличие отнекиванием от угощения, мол, сыт, только что поел. Виктория Самойловна так искренне стыдила меня во вранье и почему-то за кокетство: «Ну какой же ты, Саша, кокетун!», что я перестал врать и, вообще, говорить что-то. Просто садился за стол, ел, даже не заискивая похвалами: «Ой, до чего вкусно!» — и говорил заключительное спасибо, очистив до крошки тарелку. Что Виктория Самойловна непременно использовала в педагогических целях: «Потому он, Юра, и не как ты, не болеет».

Судя по следам былой стати, Владимир Львович, кто-то из родичей гудаутского дяди Яши, тоже был в молодости тем еще геройским хлопцем. Вспоминал в Гражданскую войну случай, когда он на краснокомандирских курсах шел на мост, как Наполеон на шквальный огонь то ли белогвардейских, то ли петлюровских или скоропадских пулеметов. И не царапнуло. Верю этому — он говорил только всерьез — не помню ни намека на шутку и даже улыбку. Юрка не поведением, но полным видом в него, по-шукшински, так красавец с ударением в конец слова. Глаза — небесная голубынь, кудряв, но не цыганским власолохмотьем, а прям-таки перманентно аккуратно. Нос — ни капли от библейских предков, а очень даже располагающим подобием славянской картошки. Ну и брови. С Брежнева пошло — бровеносец, Юрка носил отцовские, что еще роскошнее. Брюнет, но не дико, чернее ночи, а с прикольной рыжинкой. Тут я отцовское сходство не захватил, при мне Владимир Львович был сплошной «негатив».

Умереть Гинзбург-старший у нас успел и покоится, вернее всего, на Цинковом кладбище под советской пятиконечной звездой. А Викторю Самойловну сын увез на историческую родину, где она и покоится под звездой на угол больше. Мир праху вашему, столь близкая памяти сердца моего чета, разделенная в прахе сыном на столько земных далей.

## Общага. 1959—61

Общагу мне дали поздно, в конце третьего курса, и не потому, что мы жили зажиточно. Какой достаток! Отец — автослесарь, хотя и высокого разряда. Мать, как тогда писалось, домохозяйка и нас, пацанов, три иждивенца. Но было много ребят, которые жили еще более туго. И очень туго было у нас с общежитиями. Институт рос семимильными шагами, а общаг на конец Пятидесятых годов было лишь две. Первая, что у парка, встала первым строением ЧПИ в начале десятилетия — «отсюда есть и пошел ЧПИ». Вторая встала на проспекте, у западного крыла главного корпуса. Одинаковая плиточная одежда с ним говорит об одновременности рождения. Да, мы строили вторую общагу одновременно с крылом на первом курсе, вместе и обживали. Увы, общагу не я обживал! Но познать общежитские прелести в студенчестве успел. Напротив стадиончика без трибун и ограды, потом именованного «Инга», что за памятником «Бороде» — И. В. Курчатову — сложили мы из белого кирпича последний дом на проспекте. И стал он третьим студенческим теремом — теремком, третьей общагой. Поселили здесь счастливых с разных «факов», заняв нижние этажи студполиклиники.

Нам посчастливилось видом на стадион и сосны городского бора с закатным солнышком. Моими сосчастливцами по комнате стали еще четверо — все наши — атэшники. Койку от меня на противоположной стороне у встроенного шкафа занял мой одногруппник и «земеля», из златоустовских кузюков Чернявский, носивший именем плод французской фантазии родителей — Жорж. Разумеется, он испытывал от этого насмешливые неудобства, но относился к сему, говоря современным языком, «индифферентно». Более того, сам расширял улыбки по поводу своих инициалов «ЖВЧ» — мол, у него то, на чем сидят, выше черепа. Все мы, кроме скупого на речь Миши Никитина, за словом в карман не лезли, но «ЖВЧ» был среди нас самым-рассамым остряком, ну прямо-таки непрерывным и даже опасным. Он любил подкреплять свои шутки действием.

Коронный номер «ЖВЧ» — ночной. «Сова» по режиму дня, вернее, суток, он любил заниматься ночами, даже вне всякой

запарки. Причем был большим любителем подзаправиться при этом, желудок его не дремал и ночью. Настолько любил, что за полночь, когда троллейбусы ходили раз в час, не лень было ему шагать через весь город в знаменитую «деповку» — столовую Локомотивного депо, где кормили круглосуточно. На полный желудок тянуло «ЖВЧ» на десерт пошутить. Не мудрствуя лукаво, он набирал телефон общаги и просил дежурному позвать такого-то «имярек». Дело ночное, просто так не позовут, и дежурный стремглав мчался по этажам к указанной комнате. Жертва шутки, взбудораженная тревогой, по-современному, адреналином (что-то стряслось!), в трусах скатывалась на вахту и хватала трубку. Жорж, вежливо пожелав доброй ночи, заботливо интересовался: «Ты не забыл помыть ноги на ночь?..». Комментарии излишни.

Остаток противоположной стенки от окна занимал тоже острослов, но в свете шутовской славы «ЖВЧ» не столь приметный. Копейский немец Альтергот, по-русски Старобогов. Немецкими фамилиями наш курс вообще изобиловал. Много было среди нас и немцев, и евреев, и вообще «неопределенной национальности». Списки наших групп были настолько усеяны неудобными для произношения фамилиями, что тертый фронтовик-майор Сандалов (много чего почерпнули мы от него из армейского фольклора: «Ивану за атаку... Марье... Красную Звезду» и т. д.) как-то, делая переключку на «военке», так перетрудил язык коверканьем разными «альметдингерами, гельфанбейнами и мишпотманами», что оборвал всем доступным русским выражением. И приказал старосте закончить переключку.

К моим ногам примыкала кровать Паши-двигателя. Был он нас постарше, но ненамного. Однако казался совсем мужиком, потому что был женат одним из немногих на курсе. Супруга приезжала к нему на побывку, останавливаясь у нас на ночь, и за ночь варила нам домашнее. После постно-безвкусного однообразия столовского «абони»<sup>1</sup> это было что-то. Как у павловских собак, при виде ее у нас даже выделялась слюна, выработался условный рефлекс. Паша тоже был остряком что надо, с вечным насмешливым

---

<sup>1</sup> «Абоня» — абонемента на трехразовое питание в столовой.

прищуром. Однако разгильдяйства, как «ЖВЧ» и Альтергот, себе не позволяя, соблюдал семейно-возрастную значимость.

Для равновесия серьезными в комнате были двое: я (условно) и Миша Никитин (безусловно). Самое неудобное место у окна (и дует, и через кровать к окну все тянутся) стоически переживал многотерпеливый нижнетагилец. Миша был целевиком знаменитой «Вагонки», что в годы войны была таким же Танкоградом, как ЧТЗ. Гитлеровцев долбили, в основном, челябинские мастодонты-тяжеловесы и нижнетагильские «тридцатьчетверки».

Миша был устойчиво серьезный парень: на моей памяти, ни разу не улыбнулся и в наших щенячьих шалостях, которыми даже Паша-женатик соблазнялся, ни-ни. Он входил в институтскую команду по стрельбе — настрелял мастера и не одного чемпиона в соревнованиях разного ранга. К стрельбе относился, как и ко всему, за что брался, сверхпредельно серьезно, доставляя мне немало тревожных минут с самого новоселья.

Открываю «сокрыты негой взоры» в одно из первых утр и вскакиваю, как ошпаренный. Реальность хуже дурного сна. Стоит у кровати Миша и... щурится-целится в меня из винтовки. А вы бы не вскочили? Откуда мне знать, что целился он не в меня, а в точку, которую обозначил на стене. Я ж вообще еще не знал, что он из сборной по стрельбе, и под кроватью у него винтовка. Оказывается, это у него утреннее упражнение: «Чтобы рука привыкла к винтовке, не чувствовала тяжести...». В общем, объяснил, успокоил. И все равно, даже при знании всей безобидности мишиной утренней винтовочной физзарядки, каждое пробуждение «под ружьем» впрыскивало в меня изрядную долю адреналина, так и не привык.

Вроде бы тесно. Пять коек и стол посередине. Так ведь мы здесь, по сути, лишь ночевали и друг друга почти не видели. Настолько плотна была институтская жизнь. Лекции, практические, курсовые, библиотека, субботники, воскресники, секции, кружки, самообслуживание, подготовка к экзаменам, сессия, практика, уборочная, вечера, танцы... А это еще не все, а лишь, что помню. Да разве все упомнишь. Даже чаевничать в комнате не было заведено. Ну, во-первых, на разные нагревательные приборы комендант и общежитская комиссия смотрели косо, а во-вторых, нам всем просто вместе было некогда. И вообще, мы были накрепко привязаны

к столовке-«обжираловке» «абоней» — абонементом. Состоял он из талонов на завтрак, обед и ужин. Хочешь не хочешь, а будь добр в «обжираловку» с утра пораньше, как и вечером до урочного часа. Иначе сгорят твои завтраки-ужины. Говорят, в Германии так жестко с нашими туристами-разгильдьями поступают: опоздал на пять минут — сливают твой обед в помойное ведро. Так и здесь, опоздал хоть на минуту — передергивай ремень на дырку.

Как ни пеняй у нас на суровый режим питания, а без «абони» на «степку»<sup>1</sup> не проживешь. «Абоня» и плата за общагу так рассчитаны, что копеечка в копеечку вписывались в стипендию. Подкормиться на стороне, в «деповке», к примеру? Так засучай рукава на приварок, к которому желудок ой как стремился постоянно.

Выручала нас овощная база. Находилась она за стадионом «Труд», где-то в районе нынешнего зверинца. Со станции вела сюда железнодорожная ветка, и вагоны с картошкой-моркошкой гнали сюда круглогодно и круглосуточно. Так что на разгрузку руки нужны были всегда. Ушлые «завбазы» очень даже понимали выгоду близости наших общаг, и телефоны общежитских вахт красовались у них на самом видном месте. Куда они без нас, особенно ночью. Нам только звякни! В какую что ни на есть ночную глухомань принесут черти на базу вагоны, оттуда в общаги сразу же «динь-динь». И дежурный по этажам с кличем: «На разгрузку!». Не было случая, чтоб не откликнулись. Через час-другой вагончики пусты, а овощехранилица — наоборот. Расчет сразу же — «живьем», и бумажек побольше, чем днем. «Завбазы» не мелочились — за простой вагонов больше выйдет. Да и законно — ночная, аккордная плата. Ну а нам сам бог велел после трудовых авралов побаловать брюхо в заветной «деповке».

Нет, что ни говори, а «абоня» достоин оды. Разгрузкой жив не будешь. Без «абони» не проживешь! Как они там ухищрялись наши общепитовцы, но калорий на 95 копеек (помню стоимость и через десятилетия!) они наскребали, чтоб нашему брату было хоть не до жиру, но быть живу. И ничего, пять лет до победного дипломного конца протягивали. За все время помню один голодный обморок, но не по абонементу, «абоня» бы этого не допустил.

---

<sup>1</sup> «Степка» — стипендия.

И еще — дай боже мир праху твоему, незабвенный Никита Сергеевич, за твою «бесплатку». Хотите — верьте, хотите — нет, но было при нем так. В любой столовке на столах — тарелки, а в них под салфеткой от мух кусманчики хлеба. И представьте себе — за просто так, бесплатно, как соль нынче. Ох и не любили столовские нашего брата-студента за пристрастие к «бесплатке». Впрочем, так просто за хлебом руку не протянешь, положено выбить кассе что-нибудь, хлебушек скалькулирован в стоимость меню. Так и мы же не за так. Стакана по три чая выьем. К нему хлебушек по закону. Никаких претензий. За ушами трещит, в желудке теплеет-тяжелееет и на душе легчает. Живы, годны на грызню гранита науки.

### **«Паровоз Лебор», или «Раскрывая тайны сопромата». 1960—61**

Не знаю, какими добровольно-принудительными узами привязало кафедру иностранных языков к АТ-факультету институтское руководство, но никто столько не возился с нами во «внеклассное время», как «инязы». Тогда было заведено кураторство. С первого по последний курс группы вели «классные мамы-папы». Нашу группу, к примеру, обаятельная «англичанка» Бронислава Алабина. Хорошая у нас о ней память, как, думается, и в других группах о своих «мамах». Мудро поступало институтское начальство, связав эту сугубо женскую кафедру с нашим сугубо мужским факультетом. Нам, в большинстве вчерашним школьникам, конечно же, нужна была еще материнская опека.

Редкие на «инязе» представители сильного пола были без исключения оригиналами. Ну а самый из них, конечно, «немец» среди студентов «Паровоз Лебор». «Паровозом» он стал за пагубную страсть к курению, смолит денно и ночью, лишь с перерывом на занятия с нами, сон и принятие пищи. Ну а «Лебор» (от студенческой лени называть преподавателей по имени-отчеству) — Лев Борисович Гарифулин полностью.

В мои атешные времена преподаватели, как и студенты, обязаны были нести общественную нагрузку. «Лебор» был закреплен за факультетской стенгазетой от преподавательского состава, я — от факультетского бюро комсомола. На этой почве он меня и раз-



вратил газетчиной, что в конце концов довело до журналистики. Наш автотракторный «Конструктор» при нем 25—30 ватманов — еженедельная норма!

Не верится? Да и кому поверится, мне самому сейчас не верится, но из песни слова не выкинешь! «Паровоз Лебор» родил идею и потащил сверхгруженный стенгазетный эшелон. Наше АТ-шное тщеславие стало порукой проекту века. Наш девиз «Мы — с Автотракторного факультета!», а значит, везде и во всем «мы впереди планеты всей». Со стенгазетой уж точно мы вписались бы в Книгу Гиннеса. А ведь никаких чудес! Самая обыденная общественная обязательность в советскую эпоху. Не помню, чтобы хоть один из нас тогда не нес какой-нибудь общественной нагрузки. Стоило посылу «Лебора» кинуть клич на «факе», как в считанные дни штат стенгазетного концерна был укомплектован.

Стенгазетная нагрузка не столь уж давила на плечи. «Концерн» состоял из четырех редакций — по газете в месяц. В каждой редакции по 15—20 газетчиков — от редакторов до корректоров и машинистов. Девчонок, известно, у нас почти нет, потому и ребяташки тюкали на машинке, и совсем неплохо. В каждой редакции свои художники, коры и фотокоры, отделы учебы, культуры, спорта и т. д. Ну а по оперативности и всезнайству мы могли соперничать не только с любой многотиражкой, но и — бери по-выше — тянули на газетный уровень. Мы делали «Конструктор» всерьез, на порядок выше прочих «факультеток».

Гвоздем нашей программы, гвоздем каждого номера был настоящий детектив с продолжением. Плод творческого труда небольшого, но дружного «оркестра», в котором первые скрипки играли Югинз и, конечно же, «Лебор». О своем участии я скромно умолчу. Детектив носил подходящее техвучу название «Раскрывая тайны сопромата».

Сюжет в двух словах. Злобный паук ЦРУ, как известно, проявлял во все времена нездоровое любопытство ко всему происходящему в лагере социализма и просматривал все наши газеты: от «Правды» до многотиражек. Конечно же, наша институтская многотиражка была у этого паука на особом учете. Пронюхал-таки паук империализма, что наша альма-матер растит и ракетчиков, и танкистов, и оборонных прибористов, и вообще... И вот там,

откуда расползаются по лагерю социализма и мешают строить светлое будущее разные джеймсонды и прочие номерные агенты, обратили внимание на снимок в «Кадрах». С вполне безобидной подписью «Студент Вася Шаропузииков на занятиях в лаборатории сопромата». И чем же это мог насторожить джеймсондов наш безобидный во всех отношениях Вася? Да ничем, просто зоркий до наших достижений паучий глаз усек цифру на приборе. Судя по ней, образец должен давно уже разорваться, а ему хоть бы хны. Что из этого следует? А то, что в Челябинском «политехе» придумали и испытывают сверхпрочный сплав. А что из этого следует? Надо выкрасть сплав, а еще лучше — документацию. Чтобы использовать, естественно, против лагеря социализма.

Что они делают для исполнения злого умысла? Засылают своего прославленного агента, который в отличие от нашего популярного напитка, помеченного тремя семерками, имел нумерацию «007», что означало высшую квалификацию, и разворачивают операцию. Перво-наперво выкрадывают студента Железобетонова, который возвращался в общагу, проводив склеенную на танцах в 103-й аудитории медичку. Дальше, как известно, дело техники. Придают «007» железобетонный облик и посылают в нашу общагу на железобетонскую койку, где наш атешник должен был наслаждаться любовными видениями после свидания с медичкой.

Оборотень с первых своих шагов в роли Железобетонова стал вести себя далеко не по-нашему. Разомкнув утром очи, он чуть не наделал глупостей, как говорится, полные штаны. Едва не расстроил игру отправкой себя на тот свет. Лжежелезобетонотв решил вдруг, что провалился, и чуть было по инструкции не раздавил ампулу с ядом в зубе. В него целился, прищурив глаз, из стрелкового оружия сосед по койке. По агентурным сведениям, его звали Майкл, по местному Миша. «007» одновременно поразился, как четко работают парни с Лубянки и какое допотопное у них оружие. Искусный в иностранных «стволах», такого он не знал. Не успел стать Железобетоновым, с горечью подумал он, как уже раскусили! Однако до того, как стиснуть зубы для исполнения смертельного служебного долга, «007» успел заметить, что оружие не заряжено. Проследив за взглядом Майкла-Миши, «007» обратил внимание, что целился он вовсе не в него, а в стену, известковая несвежесть

которой была разукрашена концентрическими кругами, как в тире. Тренируется — отлегло от сердца у Лжежелезобетонova.

И так далее, и тому подобное. Несмотря на суперподготовку, «007» на каждом шагу попадает впросак. То он придет на первую пару, заставив от этого онеметь преподавателя (такого настоящий Железобетонov себе никогда не позволял). То в столовке положит копейки за хлеб, заставив онеметь кассиршу (хлеб-то тогда свободно лежал на тарелках бесплатный). То побежит среди ночи с четвертого на первый этаж по вызову дежурного на выходе: «Тебя к телефону». Чтобы услышать в трубке: «Ты опять не мыл на ночь ноги?». На такую лабуду стреляный не раз общежитскими хохмами воробей Железобетонov сроду бы не попался.

Особая прелесть и интрига «тайн» состояла в том, что все в них было так, как происходило «по жизни» в «политехе». Правда и только правда, ни грамма выдумки! Среди действующих героев, кроме связки «007» — Железобетонov не было ни одного вымышленного лица. Здесь и институтский секретарь — враг АТ-фака Г. Празднов, и румяный богатырь — вожак атэшников Валька Путин, и вузовский орфей Вилен Абакумов. И доморощенные стилиаги Бухта с Бобом Власовым и прочими «мальчиками с брода». И начальник институтской охраны Стук, про которого со страниц нашей стенгазеты (оспаривает более поздняя «Баня») пошло по «политеху»: «Без Стука не входить!», и наш «танковый Буденный» — глава военки генерал-майор Шаров, и все мы, рядовые атешники, в массе которых развивались события.

Было еще один литературный герой — Вася Шаропузиов, к которому набивался в друзья и все пытался развязать язык Лжежелезобетонov. Что только ни вытворял хитромудрый супершпион, но наш Вася держался, как на экзамене, — ни слова на коварные вопросы. Мы-то с «Паровозом Лебором» решили, что это мы его породили, а оказывается, натуральная мама. Потому что однажды вдруг Шаропузиов в плоти и крови явился к нам в редакцию. Вся и разница-то в том, что он не с АТ, а с другого факультета. Остальное все один к одному — и имя, и фамилия, и курс. Даже физия (это надо же!) схожа. Пришел к нам Вася и зарыдал горячими слезами. Мало, что мы сделали его посмешищем курса, мы еще и разбили его личную жизнь. Разлюбила его красна девица, провозжать не разреша-

ет, в кино и на танцы отказывается, курсовые с ним вместе не делает. Что ты с ним поделаешь? Убирать из «Тайн» никак нельзя. Иначе, как говорят французы, «финита ля комедии». Вот и ломай голову! В общем, идя навстречу пожеланиям трудящихся, временно вывели его из игры — отправили в роман с продолжением в академку.

С Железобетоновым мы угадали, не оказалось с такой фамилией в списках студентов. Однако и за него я получил свое. Подходит один в коридоре. У меня только и мелькнуло: где это я его видел. А он ни слова, ни полслова, бац меня по «фотографии». Тут меня сразу озарило, что здорово смахивает он на Железобетонова. Рыжий, тяжелый, явно не на трехразовую столовую «абоню» живущий. Поинтересовался «Паровоз Лебор» блямбой на моей фотографии. Рассказал, а он: «А я еще подумал, ну что пристал, расскажи ему да расскажи, кто про Железобетонова пишет. Думал, отметят тебя». Отметили! «Простодушный ты наш», ласково называли его в коллективе.

В отместку вписал я трагичный, но реальный эпизод из жизни «Паровоза Лебора» в канву «Тайн». Заветный наш заборный (за городским бором) пруд «Коммунар» тогда водой полнился до самых Шершней. Омутный, застойный, чистоводный. Ах как чудодейственно живил он сомлевшие в сессионную жару хилые от абонементного столования наши тела. На берегу медный смоляной жар сосен. От общаги через него до прудового рая «на водной» для молодых ног совсем ничего. За прудом, теперь сплошь уставленном белыми громадами Северо-Запада, зеленел тогда бескрайний протор. Птичьи трели, стрекозы, комары. Тишь да благодать!

Всю сессию, за вычетом экзаменационных и консультационных часов, да дождя, дневали мы и ночевали на «водной». Чаще всего змеем-искусителем являлся в общагу «Паровоз». Он ходил в холостяках и одному на «водной» ему было скучно.

Мы обнажались до плавок, сразу же вступив под сосновый шатер бора. «Лебор» же соблюдал приличие, позволяя себе лишь стянуть рубашку, вызывая всеобщую жалость костяным каркасом, прикрытым лишь мертвецки белоснежной кожей. Солнце ее почему-то не брало. Дорогой мы «шпрехали дойч», развивая свою разговорность. Попутно он пытался сделать нас полиглотами. Он неплохо еще «шпрехал инглиш унд францозиш», чего и нам желал.

Может, кое-что и вышло бы у нас, да кончились наши сессии и «водные» с «Паровозом». Разъехались мы отрабатывать дипломы по направлению, а ему время пришло сесть за диссертацию, которую он без возни с нами и «Конструктором» одолел без особых затруднений и промедлений.

Именно на «водной» на «Лебора» устроили покушение, которое я в отместку осветил в «Тайнах...». Лебор пошел на «водную» тогда без нас, это его и погубило. Попал он в эту историйку, как кур в ощи́п, по простодушию. Соблазнили три грации. Знали мы их по «Конструктору», что-то они у нас делали, отбывая общественную нагрузку. С каждой из них в розницу было опасно, вместе же было просто губительно.

Завлекли они «Лебора» на «водную» вроде бы с серьезными намерениями — пересдать зачеты. Ну и заодно сочетать полезное с приятным — искупаться. Наш Простодушный и соблазнился. Для полного комфорта грации даже лодку взяли напрокат. Поначалу они пытались прельстить Простодушного на зачет видом своих телес, сообразно коварному замыслу, оголенных до предела. Помнится, они были достаточно аппетитны, несмотря на столовский абонемент, видно, кто-то их за что-то подкармливал. «Лебор» и тут не отступил от своего железного правила: зачет без подтверждения достаточными знаниями, по-современному, нонсенс. И ноль внимания на девичьи прелести, хоть плачь. Прогнал грации сквозь перфекты и, убедившись, что испытуемые ни бэ, ни мэ, ни кукаре, посчитал зачет оконченным и велел грести к берегу. Ах, «Лебор», ты же сам когда-то был студентом!

Грации вроде нечаянно, но дружно передвинули телеса на один борт и очутились в воде вместе с Лебором и прочим, что при них было, сарафанчиками да зачетками. При «Леборе» же было куда больше. Он ведь жил по-латинской пословице «Все свое ношу с собой», и на дно ушли рубашка со штанами, ботинки с носками и выдавший виды портфельчик с содержимым на все случаи жизни. Канули на дно и не раз стоявшие на краю гибели, на сей раз окончательно погибшие очки. Настырные миасские воды едва не стянули с «Лебора» последнее, что на нем было, но он вцепился в них обеими руками, потому и потерял бесценные свои «диоптрии». В общем, «Лебор» лишился почти всего, чуть

не оказавшись, по морской форме, так «00», а по-народному, так в чем мать родила. Грации же утопили лишь зачетку, которую, как поется в студпесне под «Раскинулось море широко» «единственной тройкой согретой», терять, конечно же, было не жаль. Сарафанчики они сумели выловить, а босоножки, вообще, почему-то оказались при водном происшествии на ногах.

Было людно, и утонуть им не дали. Вскоре потерпевшие оказались на берегу. Удовлетворившие злой умысел грации через бор повели «Лебора» буквально под ручки. Без очков он был, что слепой кутенок. Довели до опушки, дальше идти стыдливый «Лебор» наотрез отказался и был оставлен на переохлаждение и поедание ожившими и нагулявшими аппетит в вечерней прохладе комарами. Пока грации летали в общагу за одежкой, «Лебор» был основательно изъеден и переохлажден, в итоге то лето безвыходно пропарился в помещении, избавляясь от глубокой простуды. Да и очки ему подобрать было непросто.

После включения мною водной трагедии в «Тайны сопромата» нашего героя стали узнавать и хихикать за спиной в коридорах. Он обиделся на нас и перешёл в пединститут. Там он, может, на зло нам и подготовил диссертацию, да такую, что его избрали зав. кафедрой. Доказал-таки нам!

А как же любимое «леборино» и наше детище? А оно еще при нем и нас приказало долго жить. Кто-то из бесчисленных обиженных нами наскреб такой компромат на «Тайны сопромата», что вопрос дошел аж до парткома института, и как реакция на сигнал, была разборка. Мне за идеологическое недомыслие вкатили выговор по комсомолу, велели обрезать стенгазету до нормальных размеров и чтоб никаких «тайн». Так и оборвались они без раскрытия, так никто и не узнал, чем все кончилось.

По прошествии лет, как известно, секретность снимается, и я могу раскрыть «Тайны...» до конца. Агент «007» — Лжежелезобетонов все-таки докопался до истины. И оказалось, что никакого прочного сплава в «политехе» сроду не изобреталось. Просто прибор был сломан и показывал лишь ту завидную запредельную шкалу, которая соблазнила господ из ЦРУ. Джеймсы Бонды в какой раз уже были посрамлены. Знай наших!

## Снежная целина. Зима-60

В воспоминания общезжитников я вошел как человек с мешком за спиной, потому что турист. Во все свободные от практик, трудовых семестров каникулярные дни надевал рюкзак на плечи, даже в зимние — вот уж поистине «охота хуже неволи».

*«Лыжня началась у станции Вавилово. Возле станции типичный уральский городок Аша. Серый от сажи снег. В центре многоэтажные дома, поставленные похоже, уже после войны, а по горам разбежались бревенчатые избы рабочих поселков — горных деревень; на берегу пруда дымил металлургический завод.*

*Первые километры дались с большим трудом. Непривычно чувствовать себя тяжелее на треть своего веса. Предо мною полз, поминутно приземляясь, огромный рюкзак, его венчал наш “походный котелок” — двенадцатилитровое ведро, фуфайка и валенки.*

*Первый спуск нас кое-чему научил. Оказалось, что уметь падать — тоже большое искусство. Падать нужно вбок, хуже на спину. Тогда нужно снимать рюкзак, иначе не поднимешься.*

*От Сухой Ати на Серпиевку постоянной прямой дороги нет. Начиналась она у Казимаша, а до него только летник, то есть летняя дорога на покосы. Решили пробираться по компасу и наброскам лесника. На нашей пятикилометровке не обозначалось ни деревни Казимаш, ни перевала Баскак перед ней, но мы знали, что они есть, и не попадем, значит, на Серпиевку не выйдем.*

*Шли медленно. Первый вспарывал, утопая по колени, снежную целину. Как это здорово — прокладывать лыжню, прокладывать путь людям. Каждому хочется хоть на минуту сойти с тысячелетней тропы предков. Смысл жизни — прокладывать тропы. По земле, в умах, в сердце. Дать человеку новую мелодию, открыть нейтрон, написать хотя бы свой рассказ — разве это не прокладывание новых троп? Очень трудно — торить лыжню. Менялись через десять минут. К десятой минуте пот заливает глаза, сгибаются колени. Десять минут первым и в последние. Через час снова в первые.*

*Полдня взбирались в общем-то на невысокий Баскак. Перевал казался притянутым к небу. Через каждый час Андрей, наш*

“сахем” — вожак по-индейски, разрешал: “Пятнадцать минут на месте!”. Спускали рюкзаки с плеч, садились на них. Юра-завхоз повышал число калорий штурмовой порцией сахара (шоколад бы лучше, но на альпинизм Баскак не тянет).

Устали до дрожи в коленях. Но когда Эд, лось, а не парень, проявляя человеколюбие, лишние три минуты повел лыжню, сахем обогнал его и ехидно выдохнул:

— Думаешь, сильнее остальных? Мы хлюпики, а ты герой!

Эд оправдываться не стал, молча пропустил всех, и мы косили на него неодобрительно.

На перевал в тот день так и не поднялись. Стало смеркаться, и лыжи “сахем” разрешил снять. Ведром вырыли яму до земли. На снегу разжигать костер не выйдет, провалится и погаснет. Между елями растянули палатки. Перед нами огромная поляна. В ночь прояснило и стало морозно. В такие лунные ночи особенно веришь в холод Вселенной. Стволы потрескивали от мороза. Вскоре поняли, что не заснуть, и до утра исполняли у костра танец замерзающего туриста и пели: “Снег” “Холодную ночевку”, “Полярный вальс”, “Барбарисовый куст”... Все что знали и на повтор. А что оставалось делать больше-то. Почти у всех походных песен ни роду, ни племени. В лучшем случае известно, что сложили ее одесситы, или педвузовцы, или геологи. Какие это свежие, бодрые, а порой грустноватые песни! Удивляет, почему до сих пор нет сборника туристских песен. Собирают же былины, частушки. А разве это не народное творчество? Блокнот у меня уж второй пухнет, а сборника все нет.

Мы пели “чуть (и не чуть) охрипшими голосами” и неутомимо бегали вокруг костра гуськом. Смешно! Люди ушли из домашнего тепла, чтобы бегать всю ночь под замороженной луной. Но красиво было сказочно. Серебристая земля купается в стерильно чистом лунном свете — снег сам по себе светится. Будто вернулись старые детские сказки. И удивляешься, почему не появляется наш румяный бородач — дед Мороз со Снегурочкой или немецкий Санта-Клаус, самое время, самое место.

Как бесконечно долго льется эта лунная голубизна, длится ледяная тишина. Наконец утренний свет стал мешаться с



лунным. Исчезли акварельно-синие тени, потеплели краски на востоке, и на Баскак совсем близко выкатилось солнце. Того и гляди на нас накатит, но ему по нему путь ровнее.

Подкрепили организм калориями, опрокинули по «освенцимке» чайного крепачка, и лыжня снова стала вспарывать снежное полотно.

Затукал где-то дятел. Нахально медленно, прямо над головами, пролетел грузный тетерев. Пока Саша стягивал с плеча двустволку, которая, как полагается в таких случаях, зацепилась за рюкзак, килограмма полтора мяса благополучно скрылись в чаще. Саша все-таки искупил вину двумя куропатками и беляком.

Ну вот и долгожданный перевал. Позади и впереди под нами волшебная страна. Ни ветринки, ни звука, ни дымка, ни движения. Будто одни на всей планете. Запах хвои и мороза. Ели по макушки в пушистых белоснежных покрывалах. На березах алмазные сережки вспыхивают радужными огоньками. Через сколько-то километров по снежной целине, но куда легче вчерашних, закричали “Ура!”. В светлых плешинах лесосек, закурились столь желанные дымки Казимаша».

Заметили кавычки! Как говорят дикторы: «цитата закрывается». Потому что я цитирую кусок из путевых заметок «Песня земных километров» в сборнике «Просторы зовут». Как явствует из выходных данных, вышел он в издательстве «Физкультура и спорт» в 1963 году, и это «книга для тех, кто любит путешествовать». Следует длинный перечень, что дает она непоседам полезного, в том числе «научит славным туристским песням». Песен в конце лишь четыре, что свидетельствует о том, что песенное творчество «народ бродячий» тогда еще не развернул в полную силу, турпесен еще дефицит. Из четверых вошла в бардовскую классику Ада Якушева, представленная ныне хрестоматийной песенкой: «Вечер бродит по лесным дорожкам».

Как ни открою сборник, пыжит грудь тщеславию, грешен человек. Мало того, что попал в сборник, мое писание поставлено первым, а в запеве-предисловии развернуты некоторые мои размышления по поводу организованного бродяжничества как познавательного, активного отдыха. Собственно, моя «песнь» —

творческий отчет о моих школьно-студенческих первоскитаниях. Порадовала она меня, возгордила (ах он вечный грех тщеславия) и насмелила на поступление в мечту всех пишущих — Литинститут, единственный в стране и мире. Что мне и посчастливилось уже в следующем году после моей первой ласточки в книжном слове. С нее, собственно, наметился и утвердился мой дальнейший маршрут по жизни — в газетчине и книжном деле. В «песне» я опустил, как на тех снежных ночевках обморозил ноги (за давностью лет решусь признаться — из разгильдяйства), был отправлен с похода в город и «комиссован» на походы повышенно категории, в конце концов пришлось довольствоваться походами выходного дня и восполнять ностальгию по серьезному туризму песней.

## Лагеря. Лето-60

Что ни говори, а каждое лето преподносило нам яркие впечатления. Ну просто ярче некуда! Четвертое, последнее студенческое лето — военные лагеря. Чтобы закрепить знания, полученные на «военке» по бронетанковой технике, и выпустить достойных бронетанковых войск зампотехроты с серебрянными погонами с микровездочкой, по ВУС 3101<sup>1</sup>, что позволило мне именовать в лагерной песне нашу ВУС — «танковый врач».

«Отгремела весенняя сессия, нам в поход собираться пора». Дали нам маленько прийти в себя после нервотки и изнурения при заполнении зачетки очередными зачетными и экзаменационными пометками и велели явиться, куда указано в повестке. А указано было быть (снова внимание шпионов!) в бывшие казармы Инсарского полка царских времён, а потом и разных советских полков, на Переселенческой ветке. В наше время их занимал танковый полк, а после — долгие десятилетия — танковое училище, распущенное уже в новом веке как танковый институт. Повод нашли — дедовщина в солдатской службе с последствиями до суда, а причина — не нужно стало державе сколько танковых офицеров.

Здесь нас, как настоящих новобранцев, заставили сбросить гражданское до формы «00». Нет, не оболванили под ноль-ноль, все ж таки без пяти минут офицеры. Просто отобрали «цивильную»

<sup>1</sup> ВУС — воинская учетная специальность.

одежду, спрятали в цейхауз и выдали солдатскую форму. Между прочим, новенькую, ненадеванную. Гимнастерку с зелеными полевыми солдатскими погонями, пилотку, портянки, кирзачи. Эх, и было с ними у «интеллюлю», по-современному, дискомфорта. Конечно, наши старшины из старослужащих учили портянки по уставу заматывать «как куколку», да и не все мы, но многие вышли из народа. И всё-таки весь лагерный месяц замыкали строй каждой взводной колонны «кедники», потому что кандыбали они на растертых до крови ногах в кедах.

Бравый наш взводный старшина был однофамильцем знаменитого собирателя Московского княжества Ивана Калиты, но отнюдь не москаль, а «щирый вкраинец». И хотя он «москальску мову разумил гарно», наше «г» осилить не мог и вместо него произносил звук, обозначения которого в русском языке нет. Хлопец он был ничего, но как все хохлы — службист невозможный. Не дай вам армейский бог оказаться во власти старшины — хохла! Наш Калита был в добавок и «захидный», а известно как относятся западные украинцы к москалям. Не то, чтоб очень заметна была его москалефобия, но гнобил он нас при случае, ох как гнобил.

Заменив нашу худенькую цивильную одежонку на нестираную новь солдатского «хэбэ» с полевыми — зелеными тряпочками погон, нас отправили на электричке то ли до Бишкиля, то ли до Мисяша, севернее которых располагались знаменитые лагерные земли уральских воинов. Лагерные сборы начали здесь проводиться чуть ли не в позапрошлом веке. Здесь лагерничали наши отцы и деды, у меня, к примеру, отец в начале Тридцатых годов. Правда, в серой форме стройбатовца, потому что зеленую общеармейскую ему, как и оружие, не доверили как кулацкому сынку. Потому и лагерничал он с товарищами с социально ненадежными на разных подсобных работах — «бери больше, кидай дальше».

Много всяких армейских прибабахов мы прознали в лагерях через Калиту. Он «неукоснительно» требовал исполнения уставных требований и армейских традиций. И тут, бывалочи, случалось всякое. Почему-то, к примеру, полагалось в столовку ходить повзводно строем и обязательно с песней. Что было нам не всегда по настроению. Ухрюкаемся, постигая армейские премудрости, а тут: «Запевай!». Затянем, но если «как нищего за пупок», Калита

тут же оборвет: «Отставить! Кругом!». До палаток и заново. Петь солдату положено браво, невзирая ни на что! Однажды мы взбунтовались. Не принял Калита нашего «нищенского» пения, возвернул до палаток. Тут, вечный смутьян однокомнатник Жорка — ЖВЧ, подлил масло в огонь: «Да что мы ему... Не серая скотинка... Без пяти минут офицеры!» «Запевай!» Молчим. «Запевай!» Народ безмолвствует. «Кругом!». До палатки. Обратно. «Запевай!» «Кругом!» И так раз за разом. Нашла коса на камень. По сторонам столовской дорожки народец стал собираться. Чья возьмет? Хохляцкое упрямство или «наш боевой курсантский взвод».

Не знаю, не знаю. Может, и уложил бы нас всех на столовской дорожке старшина Калита. Да долго ли коротко, но дошла весть о песенном единоборстве до дежурного «подпола» (почему-то на военке в большинстве служили подполковники — «подполы» по-нашему). При портупее и красной повязке прибыл он на место происшествия. С ходу оценив ситуацию, гаркнул старшине: «Отставить!» и приказал вести нас на ужин, столовая уже ждала только нас. Мы за всё про всё только выиграли — схлопотали всем взводом наряд на кухню вне очереди. Так ведь это все равно, что пустить щуку в воду, а козла в огород. О наряде на кухню при лагерной вполуголодке можно было только мечтать. Повара смотрели сквозь пальцы, как мы жевали здесь что ни попадя непрерывно. Иной раз такой кусман мяса перехватишь — рай желудку. Что нам, эгоистам до того, что хлебово в алюминиевых чашках наших соллагерников будет «малокалорийное». Ничего, попадут в наряд на кухню, наверстают объединенные нами калории.

Другие последствия нашего песенного бунта. Пение на пути в столовку наши отцы-командиры-«подполы» признали считать необязательным. Калита? Наверно, беседовали. Но остался прежним. Устав есть устав! По уставу он был с нами с подъема до отбоя. Спал не с нами в палатке, но где-то рядом, такое ощущение, что за полой. Чуть что, а он уже у входа. Пилотка на два пальца над левой бровью, под пряжкой ремня тоже. Гимнастерка без складочки. Отец родный, а не старшина!

Подъем в 6.00. Полуодевание по форме 02, то есть портянки, сапоги и галифе. Выше ничего. В любую погоду пробежка в таком виде за окраину лагерного городка. Очень даже пробуждала

к лагерной и вообще действительности. И вот уже кто-то что-то отпускает соленое. Неугомонный Жорка — «ЖВЧ» уже жеребеночком взбрыкивает вокруг Рудика. Носил тот народную фамилию Рыжик и густой блондинистый покров с ног до головы, что при пробежке очень привлекало «ЖВЧ». Он на ходу подпрыгивал к Рудику, дергал за кудряшки на спине и отпрыгивал игривым козленком. Очень даже уравновешенный Рудик в конце концов бросался за обидчиком и сбивал наши бегущие ряды. Естественно, Калита кричал «Стой!», возвращал к палатке, и мы начинали пробежку заново. До финишной команды «Стой! Оправиться!», что мы с удовольствием и делали.

Потом утренний туалет. Заправка досчатых нар. Досчатые щелястые столы в столовке. Литые лохани с варевом, имевшим неопределенно постоянный, на все блюда и лагерные дни запах и вкус. Штампованные тарелки, ложки, кружки-«освенцимки», потому что ультротеплопроводные, кипяток просто ошпаривал пальцы. Чем нас насыщали в лагерях, кулинарная память не сохранила, а вот что на ужин почему-то выдавали по пять сантиметров селедки, очень даже запомнилось. О чем я в лагерную песню вставил строку «сантиметров пять селедки каждый должен в ужин жрать».

До обеда скучнейшие теоретические занятия в «классах» — досчатых домиках — уставы, тактика и т. д., и т. п. Поголовно все дремали, осоловевшие после утреннего принятия пищи и систематического недосыпа. «Подполы»<sup>1</sup> нас очень даже понимали и отбывали положенные теоретические часы, особенно нам не докучая, читали свое чуть ли не вполголоса. После обеда было веселее. Всякие «закрепления на практике». После ужина с селедкой сколько-то свободного времени, отбой и очень даже чуткий сон. Солдатские одеяльца грели по-сиротски и поднимали на отлив совсем не «по несдержанию».

Постовая и караульная служба. Скукота — зевота. Щекотало только на объекте № ... Туда вводили всем взводом чуть ли не на сутки. Перед заступлением стращали всяко — будто в «пакгаузах» чуть ли не снаряды» и... Многозначительная недомолвка.

---

<sup>1</sup> Подпол — подполковник, почему-то на военной кафедре были сплошь с двумя звездами и просветами на погонах.

Словом, возможны диверсии. Адреналинчику это впрыскивало! Да и вообще, темь вокруг кромешная, тишина гробовая... В руках карабины с настоящим (!) боезарядом. Так и жди из тьмы ... Бог миловал, за месяц сборов на объекте не случилось ни одной попытки диверсии. Нарушения же караульной службы были однообразны — потеря бдительности по дремоте. Калита за ночь засекал почти каждого и наказывал нарядом.

Наряды. Самый популярный, понятно, кухня. Рефлекс на слюновыделение до сих пор. В огромных корчагах на закладку в «первое» варилось мясо, от которого мы ножичком, специально занимали, у кого своего не было, отстругивали себе калории. Самый деликатный наряд и самый дурацкий — обихаживать «генеральскую линейку». Перед лагерным строем палаток возлежала эта вот самая линейка. При ней грибки с неусыпными постовыми. Сама же линейка была посыпана желтым песком и ходить по ней не полагалось даже «подполам». Только генералам! Поэтому и генеральская. Так вот на эту самую линейку время от времени выпускался наряд, который выщипывал на ней каждую проросшую на свою беду травинку. Более дурацкой картины не придумаешь: здоровенные лбы, без пяти минут лейтенанты и инженеры, щиплют травку вверх задом.

Самые яркие, на всю жизнь, впечатления, конечно, от пятидневного марша. Никогда в жизни, а кое-что и перепадало из экстремального на мою долю, более изуверского мой организм не испытывал. Наши «подполы» во главе с зав. военной кафедрой генерал-майором Шаровым заранее не скрывали, что дадут нам на марше огонька прикурить на полную катушку. Мол, избежали солдатской лямки, так мы вам покажем в концентрированном виде все ее прелести. Получилось, не просто стращали. Словами не передать этот «концентрат». Отданные на пять полных суток с потрохами в руки «подполов», мы до доньшка хлебнули солдатского лиха. Слов на ветер они не бросали!

За пять суток марша нам положено было «на практике» закрепить и на себе испытать, что они в нас вдальбивали за три курса «военки», в которые втискивалась программа офицерского училища.

Марш мы совершали на стареньких, но вполне ходовых легендарных тридцатьчетверках. Экипаж машины боевой — три лагер-

ника и механик — водитель, сверхсрочник из учебного танкового полка, командированный на лагерные сборы со своей машиной. И нас допускали за рычаги вождения. Для нас, уже «бывалых» шоферюг — это детский лепет, но поднатужиться приходилось. Двигать рычагами, оказывалось, силенка нужна немалая. Недаром наш генерал Шаров, только что вернувшийся из Китая, где руководил освоением советской бронетанковой техники местными танкистами, любил поговаривать, что по сравнению с нашими танкистами они мало каши ели. Ворочать рычагами было беделогам просто не под силу, и перед тем как садить в танки, их специально откармливали калорийной пищей.

С натугой, но мы с рычагами справлялись. Механик-водитель у тебя за спиной, вернее за плечами, потому что стоит на командирском сиденье и смотрит вперед через командирский люк. Он руководит тобой, пиная в то плечо, какой рычаг надо двигать. Если задержка, и танк начинает терять колею, взбадривает матом и повторными пинками (синяки у каждого). Ну а как заклинит рычаг, и танк начет крутиться, как разыгравшаяся псина за хвостом на одном месте, чем быстрее откатишься в башню, тем лучше. Механик скатывается на твое место и выравнивает танк в прямолинейное движение. Конечно, запомнилось ночное вождение. Особенно, когда при такой вот «заклинке» рычага чуть не задавил задремавший соседний взвод, ожидавший очереди на вождение.

На марше мы были, в основном, пассажирами, и убедились, что даже пассажирство в боевой машине не в удовольствие. Газы, пыль, духота. И синяки. Рессор у танка нет, а кругом железо.

Были стрельбы из личного офицерского оружия — «макарова». Из танкового спаренного пулемета. Даже кому-то подфартило шмальнуть из башенных орудий. Только не нашему взводу. Снаряды дорогие.

Издавательство бессонницей в лагерной традиции входило в обязательную программу марша. Делалось это по нарастающей. В первую ночь нам дали спать часов пять, во вторую — три. Вот когда мы убедились, что спать можно в строю и даже на ходу. Ночь перед «боем» нам совсем не дали спать, освежая в воспа-

ленных трехночным недосыпанием мозгах тактику. А на рассвете бросили в танковую атаку на позиции противника. Натуральность боя обеспечивалась дымами разных видов. Мы пускали дымовую завесу, чтобы противник не мог в нас стрелять прицельно, рискуя залететь в какой-нибудь буерак или врезаться в соседа. Противник взрывал дымпакеты. Под аккомпанемент канонады мы, как положено советским воинам, конечно, победили.

Верх измывательства, конечно, — «преодоление естественного препятствия», в нашем случае — болота. Будете проезжать из Челябинска в Европу, между станциями Бишкиль и Мисяш обратите внимание на селеньице на бугре с северной стороны. Это деревня Кугалы, а пастораль за ее околицей и есть голгофа многих поколений политехников-лагерников. Мы обязаны были преодолеть это с виду совсем безобидное болото без посторонней помощи, так называемым методом самовытаскивания. Что это такое? Под гусеницы подкладываются бревна. Проехали, вытаскиваешь их из грязи за танком и тащишь вперед. И так, пока не минуешь топкое место. Просто вроде. Как вспомнишь эту простоту, до сих пор живот сводит.

В наши лагеря выпало сырое лето, и «естественная преграда» напиталась дождями предовольно. Выставили мы танки на болотном берегу за деревней. Отсюда полагалось нам по прямой на другой берег, что по соседству с «железкой». Механики-водители полезли в болото на рекогносцировку. Не зная брода, не суйся в болото. Через десяток шагов, матерясь, вернулись и с уверенностью доложили «подполам», что в это лето болото в лоб не взять. Многие из них имели дело с ним не одни лагерные сборы и хорошенько изучили его характер.

«Военный совет» в пять минут нашел выход из положения. Прозвучал приказ: «По боевым машинам!». И вскоре мы были уже на заданном противоположном берегу, миновав «естественное препятствие» по периметру. Словом, повезло нам! Как говорится, не было счастья, так несчастье помогло. Избежали мытарства «самовытаскиванием», даже рук не замарали.

Повезло, да совсем наоборот. Уже походные кухни задымили призывно, а мы, распоясавшись, даже не по-уставному скинув гимнастерки, встали на четвереньки лакомиться клубникой, ко-



торой на местных буграх поспело красно. Ну не боевые будни, а разлюли-малина. И вдруг на дороге за деревней со стороны лагеря зазеленел бобик. Вскоре уже перед нами предстал сам генерал Шаров во всей своей грозной пышноусой красе. Вот когда он на деле показал, что не зря его зовут кто «Чапай», кто «Буденный на танке». Сразу же невооруженным глазом он разгадал наш обманный маневр. Еще бы! Солнце еще не на полдне, а мы уже на этом берегу. Наши боевые машины в невинной чистоте, а на болоте ни колеи.

Ни слова не говоря лишнего, он приказал «подполам» согнать нас перед ним в строй. Встань передо мной, как лист перед травой. Что и было незамедлительно исполнено. Обгимнастеренные вмиг, опоясанные в комбинезонах экипажи застыли у танков. «Буденный», он же «Чапай», молодецки расправил свои лихие усищи и начал по-боевому, а потому на его речь можно сэкономить место сплошным многоточием.. Не делая разницы между нами и «подполами» — командирами, генерал поутюжил нас вдоль и поперек и подытожил для убедительности: «Я вас заставлю верить в советскую технику!» Что означало: возвращаться на исходный рубеж и брать «естественное препятствие» в лоб, как положено, без поправок на зигзаги для облегчения пути. Как в песне: «И что положено кому, пусть каждый совершит».

Оказалось, в этом болоте нашему экипажу было положено хреннее всех. Поверить в советскую технику нам так и не удалось. Где-то посредине болота мы вбухались в такую топь, что танк зашло через люк механика-водителя. Чтобы доставать бревна для самовытаскивания, надо стало нырять в грязь. Как старый Мазай с зайцами, мы в конце концов опустили руки и уселись на башне танка. Даже наш неумолимый «Буденный на танке» понял, нас с него не стонишь и трибуналом (впрочем, на него у него прав не было), и послал за помощью. Тем более, что безвылазно устряпались еще два танка.

Мы просидели на башнях дотемна, пока из чебаркульского гарнизона не пригнали две тяжелые «сучки»-самоходки. Даже этим мастодонткам пришлось поднатужиться с нами. Стальные канаты толщиной с руку (ну потоньше, но чуть-чуть) рвались как нитки. Нас вытащили на берег уже на рассвете. Едва мы

рухнули на танковый брезент, как заиграли подъем. Марш продолжался.

Пятисуточный марш получился настолько сногшибательным, что затмил оставшиеся и вообще все лагерные впечатления. Что-то с нами еще делали наши подполковники и старшины, но из того в памяти уже ничего не осталось. Только последняя ночь. Вот когда мы выдали все про все! Впрочем не мы первые, не мы последние. Чипишная (от ЧПИ) лагерная традиция! По ней полагалось всю ночь буянить (в пределах закона). Звуки из иных палаток неслись по-современному так весьма неординарные. По традиции ни наши «подполы», ни старшины, в том числе и незабвенный наш Калита на ночном горизонте не показывались. Конечно, мы отметили эту выстраданную традиционную последнюю лагерную ночь по-автотракторному — хорovým пением. Под постовые грибки при генеральской линейке были выставлены курсовые, приметные в факультетском хоре. В их числе наш одноклассник, обладавший сердцедаскими усиками и прямо-таки женским голосом, Миша Фрум. По традиции разрешалось в ту выстраданную ночь петь что угодно и чем солнее, тем к месту. Заранее Мише было заказано, что запевать. Он же, увлекшись песенной вседозволенностью заветной ночи, почему-то через одну запевал «Цыганочку Азу» с припевкой «Цыганочка Аза — 2 раза, цыганочка ... черная, фартовая, на картах погадай!». Сразу бы не подумали о таком вот цыганско-блатном пристрастии этого рафинированного интеллигента.

Наутро соседи из палаток учебного танкового полка смотрели на нас удивленными и восторженными глазами. В последний раз! Потому что после утреннего принятия пищи нас походным порядком отправили на погрузку в электричку. Через положенный электрический час мы окунулись в призабытую за месяц «суету городов и потоки машин». Последним походным строем прошагали в недалекий от вокзала военный городок на Переселенческой ветке. Здесь нам вернули нашу гражданскую одежонку, предварительно помурывив часа по три чистой кирзачей. То ли измываясь, то ли по уставу складские старшины заставили нас чуть ли не вылизывать сапоги, не допуская на них ни единой грязинки. А на кирзе, разумеется, ей было за что уцепиться.

Отрицательный рефлекс к армейской службе нам лагерные сборы привили вроде бы окончательно и бесповоротно. Однако, когда при распределении на наши группы выпало пять мест в военные авточасти, они были заполнены без особого нажима. Наши армейские ребята дослужились до полковников, командиров крупных автосоединений. В их числе во всем дисциплинированный аккуратист — Валя Достовалов и, что совсем уж удивительно — вечный шкодник Жора — «ЖВЧ».

## «Кадры»

«Кадры» — это в ленивом на язык политехничестве моих лет институтская многотиражка «Политехнические кадры». По-ленински, так «Кадры решают все». Прозорливый вождь пролетариата вроде как подчеркнул, как много значили в свое время в «политехе» наши «Кадры». Знаю, потому что в газете с первых номеров и всю политехническую десятилетку (с перерывами). Я и потом всю газетно-книжную жизнь возвращался уже не как автор, приглашался как ветеран на юбилеи, встречи со студкорами, вспомнить о начале ее славной биографии вплоть до золотого юбилея уже как «Технополиса» в новом веке. В память о том картонка, которую получил на одном из таких сборов, где ее полагалось носить на шее, чтоб все знали кто я: *«Политехнические кадры. Орган парткома, комитета ВЛКСМ, профкома, месткома, ректората Челябинского политехнического института имени Ленинского комсомола* (такой вот длинный «орган», ничего в нем кроме ректората не осталось).

*Моисеев Александр Павлович,  
корреспондент на все времена».*

**Главный редактор С. В. Тулинский.** Вспомним и малость изменим еще одного классика, уже не марксизма-ленинизма, а литературного, заявившего о себе: «Я ассенизатор и водовоз, революцией мобилизованный», — как он говорил про Ленина и партию. По-нашему так: «Мы говорим Тулинский, подразумеваем «Кадры». Мы говорим «Кадры», подразумеваем Тулинский». С первого номера более 40 лет он — редактор газеты. Политех-

ническая его биография пестрит записями о передвижениях по службе, званиях и заметных трудах. В самом же начале он был преподаватель научного коммунизма, в этом качестве на первом курсе я с ним и познакомился, кстати, он начал в «политехе» со мной в одном году. Мой «комсомольский» редактор Л. Г. Вялов называет Сергея Владимировича соратником по комсомолу, оба секретарили в райкомах. С комсомольско-партийно-советской работы Тулинский и перешел в «политех», чтобы учить меня научному коммунизму. Всего он отдал ему лет 30, причем последнюю треть был «завкафом»<sup>1</sup>. Здесь и стал кандидатом исторических наук. Остальные два десятилетия ЭсВэ (Тулинский по-нашему) преподавал доцентом на кафедре отечественной истории. Так что непрерывный педагогический стаж за полвека.

Все это время одновременно и «Кадры» — «Технополис». Как это понимать? Служебная нагрузка по совместительству или общественная? Так или эдак, но в историю «политеха» он вошел как редактор «Кадров», а еще как вузовский историк и биограф всех мало-мальски заметных «препов», да и заметных выпускников. Итоговый труд Тулинского — биографический словарь «Ученые Южно-Уральского государственного университета» и в своем роде популярная вузовская энциклопедия «Южно-Уральский государственный университет». Естественно, кому как ни ему было представлять наш вуз в энциклопедиях «Челябинск» и «Челябинская область». Напоследок мы как раз и встречались с ним в редакции областной энциклопедии — «Аквариуме», именованной так за обилие стекла — прозрачные стены и двери. Счет вузовских статей Тулинского переходит в ней за сотню.

Вот кого не брали годы и по уму-памяти, и по стати, а ведь пошел ему тогда уже девятый десяток. Кирилл Шишов вспоминает ЭсВэ с «огненными волосами». Как поэт он сгущает краски, да рыжеват, но не до такой же степени, скорее шатен, светлеющий с годами больше от седины, хотя редела пышная шапка волос, но форму сохраняла, а вот виски, даже бачки, верно, были темно-рыжими. А статью такую сохранял в моих глазах до конца лишь Леонид Леонидович Оболенский (за что и «князь», хотя и не из

---

<sup>1</sup> Завкаф — заведующий кафедрой.

столь высоких родовых корней). Тулинский тоже все свои годы был строен, плечи в разворот, голова высоко-достойно поднята (ну не князь, так шляхтич!). Такая осанка вызывала настрой на его высокомерие, но это не его грех. Хотя и острословен был ЭсВэ до злословия, так иной раз уколет в больное место, что... Словотвор!

«Ну что ты там накропал? С чем нарисовался? Просто так? И не лень было ступеньки ногами считать, мог бы и головой, интересно, сколько до нас. Иго-го, ребяташки! Так о чем наш разговор нескладный? Опять по лесам шлялся. И что за дровишки из лесу вестимо?..».

В этой тулинской цитате по памяти намек на две примечательности — редакционной верхотуре и моей туристской одиссее, которую я старательно освещал в «Кадрах».

Вот кто за словом не лез в карман ни на бумаге, ни на слуху, в чем я убедился не только в «скворешне»<sup>1</sup>, позднее и на разных юбилеях, куда стал приглашаться, выйдя в «заслуги». Вел их ЭсВэ в непренном импровизе, вкусно сдобряя тосты, к месту мог и спеть, недурно, кстати. Он открыл мне затертую с детства песню *«Поезд, оставив дымок, в дальние скрылся края. Лишь промелькнул огонек, словно улыбка твоя. Верить? Не верить. Слово улыбка твоя»*.

Рабочей лошадкой у Тулинского был «человек в сапогах» по кликухе от ЮГинза. Он был из комиссованных «летунов», воздушных штурманов, больные ноги мерзли, и он не снимал свои сапоги и в редакции. С кадровой верхотуры экс-«военлет» опустился в областное радио, и там я долго встречал его в ботинках, видно, с ногами наладилось. Имя-фамилия его забылись, но факультетская секретарша поры моей работы над книгой «Мы — с Автотракторного факультета» Светлана Лабунько оказалась женой его сына и потому передавала привет от тестя, он, оказывается, меня помнил и по имени-отчеству.

**На верхотуре в скворешне.** В редакции курить Тулинский разрешал только себе. По-франузски, так для «реноме», попросту,

---

<sup>1</sup> «Скворешня» — редакция «Кадров» находилась на самой верхотуре, в чем-то вроде башенки над четвертым этажом.

так для понту, чем своего достигал. Только он в мое время курил трубку, объявляя, что «это вам не противозачаточные», то есть местные сигареты «Челябинские», от его курева никакой «канцерогенности». За трубку имел он кликуху «безусый Сталин», в отличие от того держал в столе не «Герцеговину-флор», а «Золотое руно». Но думается, только коробку из-под него, воняло в редакции чуть ли не махоркой, где в Челябине достать этот табачный, современно, так «экслюзив». Благоухало и куревной элитой, с Москвы привозили уважающие люди, будучи заочником Литвуза, тоже никогда не забывал порыскать за «руно» для Тулинского. Так сказать, взятка борзыми щенками, хотя и какая от «Кадров» гешефт-выгода, только приятность встреч-бесед-междусобойчиков. Насчет этого-самого не подумайте чего такого, только чаек, только чаек. Сам ЭсВэ чего стоил, интересные ребята поднимались в «кадровую скворешню», на всю жизнь интерес не пропадал к тем собеседникам.

В студентах с Югинзом обычно мы заходили вместе с западного крыла отдышаться от запарки «Конструктора». Приносили в очередной номер свой взнос в соавторстве и в розницу, «хумор», в основном, юркиного производства.

С другого крыла, с «ИСа», то есть инженерно-строительного незаметно появлялся Кирилл Шишов. Такие мужики, по природе, у меня — слоны, большие, появляются незаметно и умные. Киру и заметишь-то как начнет на двух нотах похохатывать. Он тогда приносил стихи, приохоченный на них еще в школе под присмотром стихотворной мамы челябинских юных поэтов Лидии Преображенской в «Алых парусах» Дворца пионеров и школьников на Алом поле.

Тоже со стихами неторопливо открывал дверь Сережа Борисов. Он и острословил не спеша, оживляясь лишь по поэтическому поводу. Примерно так же вел себя со стихами Юра Фоос, более знакомый мне по отношению к одной из известных нам близняшек, в которых у нас соперничества не было.

Пописывал стишки, но негромко, в основном студкор и товарищ мой по КЛИФу<sup>1</sup>, острословил тоже вполголоса Вадик

---

<sup>1</sup> КЛИФ — общественный факультет «Культура, литература, искусство, фото».

Бершадский. Рядом мы были нарисованы в «Кадрах» в «днепечатном» номере, Юра Фоос сообщал по его поводу: «Где дела хорошо вершатся, там заметна рука Бершадского». Брат его, тоже студкор Лева заводился с пол-оборота и потому даже имел студенческие взыскания. На родину предков он отбыл много позже старшего, прихватив с собой уже под своей фамилией Зиночку Константиновскую, миниатюрную брюнеточку восточной красоты. Она училась с близняшками в музучилище, и на вечерах я танцевал с ней и как-то даже проводил, узнав попутно, где живет зам. редактора «Челябки» Лев Давидыч. Писал о нем в энциклопедии, потеплев при этом к нему душой, узнав, что комсомольская юность его прошла в моем родном Златоусте, а завершилась в «Сталинской смене» («Комсомоле» моих времен), где он стал редактором, а я через четверть века скромным литсотрудником. Лев Давидыч походил на дочь и сына Додика-Дода, названного в честь деда.

Давид Константиновский был в первом наборе самого привилегированного и престижного тогда Приборостроительного факультета, шестого по счету. Очень близок мне не по одной причине. Сестренка не в счет, да симпатизировал (кому я тогда ни симпатизировал), но не больше. Додик как и я, один из немногих тогда в «Кадрах» начинал в прозе. Возился со мной в КЛИФе и по жизни повел себя по-моему. По окончании вуза «поехали мы в страну чужую, а через год он изменил». Я уехал в Забайкалье, он — в Новосибирск, почему-то в институт ядерной физики, наверно, и там нужны были спецы по приборам. Ну не через год, как в песне, но в конце концов, как и я, технике изменил. Увлёкся социологией и наработал по ней аж докторскую диссертацию.

В новом уже веке, делая в энциклопедию «персоналку» на Константиновского-старшего, я посчитал достойным и младшего. Отыскал его уже в столице, не лично, а справку про его докторство, высокую должность в каком-то чуть ли не международном, то ли институте, то ли фонде. Узнал, что он автор десятков двух книг по социологии и еще чему-то «из той же оперы» и дюжины романов и сборников прозы. Вот и получается — по словесным трудам из «кадровцев» он самый именитый. Написал про Дода, но поздноато, энциклопедия вышла без него.

**Сестра по альма-матер.** Последнего поэта «кадровых» высот я захватил уже в постполитехнические, мои газетные времена. Я тогда уже окончательно и бесповоротно изменил инженерии с гуманитарией, перейдя в штат «молодежки» и взлетал на чердак (ого-го, как легко был на подъем и на ногу) уже не со взносом в номер, а просто тряхнуть стариной в трепе и самому перехватить материалец от студкоров. Тулинский их ревновал, журил за писанину на сторону, а меня перестал любить, смотрел косо и ехидства отпуская порой ниже пояса, так что забегать опасно стало. Но забегал, скучал и по нему тоже, а потом... в «молодежке»-то я зеленый новобранец, а тут, по-армейски, так «дембель», в глазах студкоров уважение и даже почитание (ах он, вечный грешок тщеславия!).

За сроком давности можно и признаться, студкорочки вспархивали сюда очень даже ничего. Не одну провожал, по крайней мере, спуская по лестнице до вестибюля, не только на редактора и на меня внимания у них хватало, ну а уж у меня на них...

Как не вспомнить восторженную брюнеточку с такими вот глазами... «Великий пролетарский писатель, буревестник русской революции» и т. д., и т. п. называл такие глаза «шарикоподшипниками» на лице Лидии Сейфуллиной. «Шарикоподшипникоглазая» студкорка, да, простит она мне за столь машинное сравнение, но ведь классик придумал, была мне, что младшая сестра, потому что одна у нас с ней альма-матер — Автотракторный факультет. Братские отношения сохранил на всю оставшуюся жизнь.

«Шарикоподшипникоглазую» сестренку по факультетской альма-матер я тогда потерял надолго. После значительного перерыва она поднялась на верхотуру, но уже не «Кадров», а ЮУКИ<sup>1</sup>, и не ко мне, а в редакцию художественной литературы, потому что со стихами. Они обрели тогда печатное слово в сборнике «В гостях у бабушки». Конечно, чуть не объятия: «Ты как?», «А ты как?». Оказалось, родство у нас не только по альма-матер, но и, «высоким штилем», так родство душ, по жизни у нас сходство. Оба изменили инженерии со словом. Она сколько-то поинженерила в специальном (!) конструкторском

---

<sup>1</sup> ЮУКИ — Южно-Уральское книжное издательство.



бюро двигателей (танковые дизеля!) самого Ивана-дизеля (дважды Героя Социалистического Труда И. Я. Траштутина), походила в знаменитое литобъединение ЧТЗ под началом Ефима Ховива и решила на переход в литературу.

Она стала *«ред. во Дворце культуры ЧТЗ, затем там же вела занятия по авторской программе в студии эстетического воспитания школьников. Потом ведет уроки поэзии в школе № 81, руководит лит. студией в гимназии № 77»*. Далее перечень ее книг для детей и родителей, все в стихах. Так представил ее в энциклопедии «Челябинск» мой «земля» и редактор В. А. Черноземцев. Писал он эту «персоналку» в 2000 году, называл 25 книг. Через несколько лет в биографическом словаре в конце факультетской книги «Мы — с Автотракторного факультета» я называл уже 34 сборник. В конце первого десятилетия нового века отмечали её сотую детскую книжку. Конечно, детские книжки невелики, но 100 — цифра о чем-то да говорит! В новом веке с Ниной Васильевной Пикулевой (это я все о ней, кто не знает ее в детских писателях) мы встречаемся нередко, в основном, в Союзе писателей, она там в активе, была даже зампреда правления. И, конечно, на торжествах в алма-матер, как же, заслуженные факультетские выпускники.

***Звездное фототрио.*** «Фотокоры» поднимались в «скворешню» компашкой, обычно, от Моисеича, чья фотомастерская находилась на втором этаже слева от входа в западном крыле, где они кучковались, предвосхищая городской фотоклуб, закоперщиком которого вскоре и стали. Тогда их было уже за десяток. Самыми заметными по своим снимкам и знакомыми мне были Юрий Теуш, Женя Ткаченко и Леня Пикус.

Теуша, полно так Юрия Леонидовича, я узнал с первых занятий как «препа», он вел у нас черчение, и на него падают мои мытарства с «чертежным шрифтом». Как вспомню, так вздрогну. Буковочки-то в туши, а ластиком ошибки не сотрешь, вот и выскобливаешь бритвочкой до дыр, и ватман что сито, Теуш его никак не принимал: «Мне не муку сеять. Переделывай!». Куда денешься, не сдашь ватман, до сессии не допустят, кандидат на отчисление, вот и малюешь тушью заново, и скоблишь лезвием до дыр проклятые буквочки.

Уже в новом веке, «работая» факультетскую книгу, узнал, что Теуш, оказывается «атешник» выпуска начала Пятидесятых годов. В фото влез еще в студентах, таких тогда было совсем мало. Из «препов» ЧПИ после меня перешел в «пед», где долго вел фотодело и «воспитал» немало наших фотозвезд. Среди наших в числе первых вышел в центральную прессу, считался одним из лучших спортивных фотокоров. Мастер фото и, пожалуй, пионер цветного фото в Челябинске. Книга-альбом «Челябинск: градостроительство вчера, сегодня, завтра», вышедшая в Восемьдесят шестом году с его слайдами, конечно, классика.

С Евгением Ткаченко мы учились на механико-технологическом факультете (начинал, когда он закончил) года три на одних этапах. В фотокоры он вошел столь ярко, что ему даже не дали поинженерить. Чуть ли не добровольно-принудительно (по указанию из обкома, не успел диплом защитить) оказался в фотокорах «Челябки»<sup>1</sup>, а по общественной линии главой только что организованного (им же в том числе, «инициатива наказуема»). В Шестидесятые годы был Ткаченко в Челябинске «зорким глазом» номер 1. Из Челябинска, в основном, его фото шли в центральные газеты. Снимок «Труба тебе, Аденауэр» обошел все газеты мира, стал хрестоматийным. Канцлер ФРГ тогда по дипломатии, так «наложил эмбарго» на поставку труб большого диаметра для трубопровода в Европу. Наши трубопрокатчики ликвидировали угрозу срыва, прокатали такую трубу и увековечили на ней канцлера со злым пожеланием. Не вставляй палки в колеса!

В «Челябке» Ткаченко «протрубил» более двадцати лет, председателем фотоклуба пробыв ровно тридцать. Мастер фоторепортажа был увешан дипломами выставок со звездного фотоневосклона страны. С начала Восьмидесятых годов я встречал его в первом ряду всех заметных событий (на торжествах в буквальном смысле слова). Он бессменный, три десятилетия, собкор ИТАР-ТАСС по Челябинской области, причем, не фото, а информатор.

Деликатность не позволила меня спросить, почему он вдруг да прервал свою столь блестящую фотокарьеру, сменил объектив

---

<sup>1</sup> «Челябка» — областная газета «Челябинский рабочий».

на перо. При встречах у нас все о рыбалке. Женя из числа самых упертых рыбацков, что я знаю. Я тоже, по науке, так «ихтиофил», но все на столе. Как истый «природоохранник» в сознательную жизнь рыбки не погубил, был грех рыбагубства насчет пескарей и «магалей», но только в малосознательном детстве. Ткаченко был другом моего тестя, заядлого рыбагола, очень авторитетного в их кругах, видно, потому и со мной Женя так открывался рыбацкой душой. Еще мы говорили о Сороковке, Озерске наших дней, он ведь оттуда родом. Кто не знал там в свое время Ивана Ткаченко, сколько крови попортил ядерщикам, начиная с самого Курчатова. Главный «секретник» «номерного ящика» был отцом Евгения Ткаченко. Сын явно не в отца.

Столь же благостны мои воспоминания о третьем из этого славного фототрио Лёне Пикусе. Вот уж кого любили все, начиная со строгого на излиния чувств «пана Тулинского». Я так и не знаю, как он по отчеству, мне и Леонидом называть его неудобно. Голубоглазый, с кудринкой, откидом головы «под Тулинского», но ни капелюшечки свысока. Просто так он от излишеств природы, потому что выше Тулинского. Выше его из моих знакомых политехников был только Юра Слепов, наш атешник, взявший в жены одну из внучек хозяина моего «частного сектора-2» деда Булычева, зять главы политехнического Первоотдела Трояновского. Слепов не носил шляпу, потому что сминал в троллейбусе, и был такой длинный, что острослов Югинз счел самой подходящей кликухой ему Малыш. Лёня Пикус был в ним вровень.

О том, как все любили Пикуса, говорит то, что, несмотря на столь подходящую фигуру, не помню ни одной кликухи, значит, даже у Югинза шарики в мозгах на них не провернулись. Из того славного фототрио Лёня Пикус объективом орудовал великолепнее других. Мне тоже дивно, но как и Ткаченко, с фото Лёня тоже завязал. В Восьмидесятые годы встречал его в районе «политеха». На улице Энгельса отгрохали «Выставочный зал» строителей, и он там стал вроде как главным. Фотоэкспозиция там, конечно, были его, но вне стен никаких снимков. «Лёня, да как же ты? Чтоб ты и без фото...». «А я зарубежную аппаратуру ремонтирую. Между прочим, в городе таких как я нет. Очень интересно, и между прочим, масла на хлеб слой в палец». В конце концов, и Лёня Пикус

оказался среди тех, кто «а те далече», но искать его надо не на исторической родине, а за океаном.

«**Серый**». Юрий Сероглазов в «политехе» был со мной в тройной состыковке: на одном Механико-технологическом факультете, «Кадры» и КЛИФ — с «Баней» и СТЭМом. Звали его по-разному, удобная для приколов фамилия — Серногазов, Соноглазов... Мне в памяти привычнее просто Серый, очень уж подходит. Были в русской классике композитор и художник — отец и сын Серовы, так у них, пишут, фамилия была на редкость в тон. По жизни и одежде серые с ног до головы, Серов-младший, так и рисовал в серых тонах, не принимал яркой палитры (кстати, очень благодатный цвет, в древности это и был голубой). Наш Серый обликом тоже в таких тонах и говорил-то тихо, невнятно, не все разбираешь, а долго говорит, так заснешь. Громкие звуки из него выходили при смехе, смеялся он не по облику, на всех голосах, в таком широком диапазоне как пела в наше с ним время легендарная Има Сумак. И острил, хотя и негромко, но ярко, и живописал тоже. Видал его этюды, неплохо, но на людях он был сатирик, так сказать «остроштриховой» художник.

Сероглазов был у нас главным «банщиком». День рождения «Бани» отмечается всей страной, только как День космонавтики. В день выхода первого номера стенгазеты 12 апреля 1961 года в космос как раз полетел Юрий Гагарин. Ходил и я гоголем среди новорожденных «банщиков», в тот еще непраздничный день в вестибюльчике «политеха», расцвеченном листами ватмана с юморительными и страшными (гротеск, если по-литературному), потому что «Баня» — это сатира вузовского масштаба. Вообще-то, ее дебют планировался на первоапрельский День смеха, но, известно, первый блин комом. Комитетская «цензура» заставляла исправлять «идеологический и этический брак», бдили нас строго, особенно когда дело выходило за студенческие рамки. На какие ухищрения мы только ни пускались, чтоб проскользнуть мимо цензуры на всеобщий обзор в «вестибюльчик». Потому и помнится, в основном, из такого. Вот рисунок предельно лаконичный. Закрытая дверь, на ней табличка «Служба стукачей», а ниже «Без Стука не входите». Пропись на «стуке» не опечатка, это фамилия начальника институтской службы охраны. Или вот

еще. Во весь рост мужчина с лицом вузовского худрука, по совокупности руководителя оркестра народных инструментов (на балалайке играл виртуознее Полиграфа Шарикова из «Собачьего сердца»). Чего бы особенного в его тренировочном костюме («как влитой», говорила про такой моя бабушка), только ширинка обозначена. Девчонки при виде худрука деланно смущенно хихикают. Дело в том, что наш худрук был руководителем «на картошке», вечерами разгуливал по деревне в таком костюме. Девчонки, уже знакомые с нижним мужским бельем, разглядели в нем зимнее, с начесом, и донесли нам в «Баню», а нам только скажи.

К «Бане» у меня отношение было смешанное, с одной стороны и «я ее лягнул», но ведь соперница, хотя бы по числу «ватманов», нашего факультетского «Конструктора». Мы, конструкторские острословы, были приглашены в «Баню», но «мойщиками» стали немногие. Выбор был жесткий, ведь штат формировался со всех факультетов. В памяти Володя Лобачев и Орешкин, Лев Бродский (или «цкий» на конце?) и Додик Беленький, Геннадий Краснощеков и конечно, Юра Сероглазов.

Мое участие в «Бане» было закулисное, на ватман нас с Югинзом не выпускали, мы работали здесь не руками, а мозгами. Поступали сигналы-заявки, и мы собирались на мозговой штурм, кидали в общий котел свои «задумки» на их счет. Выбирались самые-самые и выдавались «рисовальщиками» на ватман. Первый мой заход в «Баню» был непродолжительным, вышел оттуда той же весной, но не из-за «профнепригодности», а по распределению на «отработку» диплома, как потом уходили и другие. Мало кто банничал весь ее срок от звонка до звонка после вуза, Сероглазов до конца, Югинз, кто еще, не помню.

Я вернулся в «Баню» после «геологии». В мое отсутствие «банщики» заложили СТЭМ — студенческий театр эстрадных миниатюр, появились такие в столице и пошли на периферию. Когда дошло до «политеха», стали нужны миниатюрки. Банщики собрались на мозговой штурм и в общем котле сварили «первую ласточку» под названием «Предъявите ваши сердца». С этих «сердец» и пошел ныне и зарубежно известный профессиональный театр «Манекен».

«И я его лягнул», пожалуй, про СТЭМ будет громко сказано. Конечно, вернулся в «мозговую группу», став «препом», соучаствовал и в «Бане, и в стэмовских этюдах, но постольку-поскольку, ведь я стал «функционером», в институтском комитете повел сектор печати, раздул КЛИФ, где время взять. Однако и «Баня», и «Кадры», и «начинка» СТЭМа попали в зону моего внимания. В постинститутские мои времена «Баня» вскоре прикрылась, «Кадры» стали «Технополисом, СТЭМ — «Манекеном».

Из «банщиков» сохранилось у меня свойство лишь с тезками Юрами — Югинзом и Сероглазовым. Вскоре надо стало переводить их фамилии во множественное число, да и я попал в узы Гименея, и мы стали общаться семьями, наши супруги нашли общий язык. Собирались и у нас, и у них. В сероглазовской квартирке Нина после ухода свекрови стала хозяйкой и вкусно подавала в застолье. Тем более, что с дефицитом у нее проблем не было, как-никак работник областного управления общепита. Перед праздниками звонила, и я возвращался от нее с отяжелевшим портфельчиком. Особенно удобно было, когда «молодежку» перевели в западную «тельняшку» — терем-теремок областных служб возле драмтеатра. Мы находились на верхотуре, а «общепит» этажами ниже.

Сам Сероглазов стал дизайнером в отделе главного конструктора ЧТЗ, благоустраивал кабины тракторов, облагораживал внешний вид машин и «товары народного потребления». Я писал о нем в этом качестве. В интервью Юра даже удивил меня, думал просто рисовальщик и остролов, а тут столько у него новых слов, аж запутался, даже философией приправляет.

Последний раз мы пили с ним, а точнее только я, а он лишь пригублял, в сердце был уж призыв, на юбилее Тулинского, кажется, в седьмой его круглый юбилей. Тут меня ЭсВэ прямо-таки удивил, слышал как его уважают, сколько у него в вузе свойств в самых верхах. Но отмечать по такому высшему разряду! В день рождения вышла «Тулинская правда» под девизом «Студкоры всех стран, объединяйтесь!». В советские б времена так опошлять лозунг, было б на орехи, но на дворе шел Девяносто шестой год. Газета — сплошная арена состязания в приколах в адрес тезоименника. Даже гороскоп на 25—26 марта, между ними он родился, под тулинской рубрикой «Иго-го, ребятишечки!». А на завершение

номера в «Уголке наблюдательных» шаржи Юры Сероглазова — «Найди одно, но принципиальное отличие в портретах «Эсвэ». На одном с трубкой, на другом нет.

## Политехнический финиш. Весна-61

Последней весной в «Политехе», когда студенческие дни мои были уже сочтены, я успел схлопотать по общественной линии последний выговор. Он связан с моим правом относить себя к пионерам организованного туризма в «Политехе», да и всей области. Если порыться в моем «Личном деле» (думается, хранится в вузовском архиве), то я там отмечен в мае 1961 года выговором. Он свидетельствует о первом массовом походе в «политехе», городе и области, организованном с моим участием. С коллегами из комитета комсомола «педа» мы вывели тем Первомаем на туристскую тропу около полутора сотен нашей братвы и «педичек». И раньше производилась смычка наших разнополых институтов на вечерах дружбы, но сводили мы их не под открытым небом, безо всякой защиты от плохой погоды. Тут-то вот у нас вышло по поговорке: «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Мероприятие назвали поэтично — «Поход майского подснежника», маршрут — «Электричка — Миасс — озеро Тургояк — Таганай — Златоуст — электричка — Челябинск».

Погода на Первомай нарисовалась ну прямо-таки летняя, днем за жаривало за 20 градусов. По теплу мы выступили и, в общем-то, благополучно довели до Таганая наш разношерстный караван. Правда, хотя везде уже все высохло, аж пыль хрустела на зубах, но в горных лесах снег еще не сдавался и в ложбинах топил по пояс. Ну а под ним талой воды кое-где уже по колено. В общем, последние километры тащили на себе и рюкзаки, и самих «педичек». На нашу беду в ночь коварная наша погода доказала, что хотя и Урал наш Южный, но отнюдь не южный край. Ни с того, ни с сего небо вдруг захмурилось и, по-Пушкину, так «снег засыпал меня и Савельича», в смысле, весь наш разноликий караван.

Нас спасло лишь то, что к началу снегопада успели собрать на маршруте и доставить в лагерь скорбные остатки нашего каравана.

Спасло и то, что лагерь разбили на Тесьме, от которой до станции Златоуст совсем недалеко. Но... Лучше не вспоминать!

На электричку и в Челябину доставили всех по списку, но для нескольких десятков наших крестниц туризмом «Поход майского подснежника» закончился, по-медицински, так «респираторными заболеваниями» и соответственно непосещением занятий. Что и было помечено соответственно в «личных делах» организаторов, меня в их числе, выговорами. Относительно благополучный исход нашего «Похода майского подснежника» омрачил финал моего студенческого существования, но не очень, вот если бы были жертвы, по-медицински, с «летальным исходом...». А раз все живы, с финишной прямой я не выбыл и продолжил дипломное проектирование.

Нам отвели под «дипломантскую» обширное помещение на этаже над боксами с учебными грузовиками и танками. Заставили мы отведенную комнатичу кульманами и стали на них заполнять чертежами положенное количество дипломных ватманов с определенной рационализацией «техпроцесса». Знаете, что такое «дралоскоп»? То-то же, по-песенному, «так ушло словцо», ему ли быть «в век электроники и компьютеризации». Кладешь чертеж на стекло, на него лист ватмана, под стеклом включаешь лампу, сдираешь быстро и без ошибок, по-галичски, так «не тратя ни сердца, ни разума». Работать было совсем нетрудно и потому что «препы» нас основательно поднатаскали по спецдисциплинам, а материал на дипломный проект мы собрали богатейший на лучших авторемзаводах и в автохозяйствах даже Москвы и Ленинграда. Кафедра при нас была уже авторитетной, наших принимали везде, куда обратятся, к примеру, меня — в столице. Стояние за кульманом и сидение за «поясниловкой» мы чередовали разминками тут же, сгрудив кульманы в угол. Под бдительным присмотром нашего громилы на ринге — тяжеловеса Пети Загородского, он и дутые перчатки принес. Разминались, по его мнению, мы безграмотно, но в полную силу, и потому на консультациях руководители проектов на наши «фонари» подозрительно косились. А еще мы беззаветно гоняли футбол на соседнем стадионе «Инга», а в плохую погоду — в заветной 103—106-й аудитории, которую тогда еще не перегородили вдоль и поперек под лаборатории.



## Геологический пролог. 1961—64

По распределению я попал неожиданно-негаданно в «геологию». Готовился уже отбывать трехлетний срок молодого специалиста, как прочие, по отработке диплома в автохозяйстве, уже и договорился в каком. И вдруг приходит из Москвы, как положено в советские времена, «распределителка» (заявки от министерств, кого, куда, сколько). Среди прочих — две от МГИОН, что в переводе на понятный язык — Министерство геологии и охраны недр. При чем тут геология и автоинженерия? Так ведь и «геология» на колесах. Одна заявка пришла на Степную экспедицию, чья «контора» в Алма-Ате, другая — на Сосновскую, что в Иркутске. Разумеется, я откликнулся. «Охота странная к перемене мест», как известно, меня обуюла еще в школе, и вот передо мной открывается такая романтическая дорога. Где мне было удержаться.

Юрка Румянцев (между прочим, уже женатый и с дитем в заделе, это ли не смельчак!) поехал в «знойные степи», как в песне поется, а «я ушел на разведку в тайгу». Лесов, кстати, в мою геологическую трехлетку было совсем чуть-чуть. «Сосновка» работала вокруг Байкала, но больше всего в Забайкалье. Мы работали от Первого главка, и геологические старики сразу поймут, что это значит. По строжайшей подписке! Проболтался, направят неподалеку по соседству, но уже за «колючку». За давностью лет обет молчания с меня снят, и в прятки можно не играть. Тем более вышел фолиант «Ядерная индустрия России» с отдельной главой о сырьевой базе. В этой главе один из главных в стране Приаргунский горнохимический комбинат стоит именно там, где мы лазили по сопкам, под моим началом гребили машины по бездорожью. На урановую руду мы работали. Страшно? Ничего, уехал я из «урановых сопок» после отработки со всеми зубами, кровь не побелела, дети получились без изъянов, и у самого на всю оставшуюся жизнь болезни сообразно житейской дури и возрасту.

С шоферней я жил, дружил и маялся все годы, что положены были для отработки диплома по распределению механиком, завгаром. Много что о них могу рассказать. Ученым языком, так «контингент» трудный, помеченный у многих в особой графе о пребывании «в местах не столь отдаленных» утвердительно.

Пить все, что пьется для «сугрева» — от «спиртяги из чайника» до «козлика, коньяка с резьбой» (дешевый одеколон) и тормозухи, — это они. «Без приписки тонн и километров путевой лист, что каша без соли» — это они. Да мало ли какой «негатив», если по-современному, за ними, но и за многие сутки вдали от тепла, в аварийной «лайбе», ожидая буксира, — это тоже они. Тянуть сотни «кэмэ» товарища, у которого движок «кулак показал», на тяге — это они. Что-что, а в беде не бросят! Копаться голыми руками под машиной в нигрольных внутренностях ходовой части при сорокаградусном морозе — это тоже они. Много о них можно сказать-писать, я и написал. Книгу вызвал «Точка на карте», по мне это, творческий отчет о командировке в «геологию», и мой шофера в ней в героях. В геологоразведке я делал записи, подлитурил их и послал на конкурс в московский Литинститут, да, да, тот самый, что носит звание «буревестника революции, классика соцреализма и прочая» А. М. Горького. И надо же, прошел по конкурсу, не помню, сколько человек на место, но много. Записи в Литинститут послал без особых надежд — наброски, отрывки от обрывков. И вот нежданная радость — вызов на сдачу приемных экзаменов. Ну как было не поехать. На все, про все ушло со сдачей дел и увольнением, ездой через всю страну и недельной побывкой дома месяц, не больше.

Можно представить смену декораций. Забайкальская глушь в голых сопках, до ближайшего Нерчинска за сотню верст. И столица. Общага, правда, на окраине с приметной Останкинской башней. Зато институт в самом центре — Дом Герцена (в самом деле, здесь родился и жил, перед домом отлит в бронзе) в двух шагах от главной в столице улице Горького-Тверской на Тверском бульваре. Общага же на углу Руставели и Добролюбова, что дало основание писать о ней «На углу Поэзии и Критики».

Месяца полтора наслаждался столицей, здесь перенес и смену власти, отмеченной в то же утро скорыми на поэтические отклики новыми моими однокашниками:

Товарищ, верь, придет она,  
На водку старая цена.

И на закуску будет скидка.  
Ушел на пенсию Никитка.

Увы, насчет скидок наши ожидания не оправдались. Так вот, приехал в столицу при Никите-кукурузнике, уехал при Леониде-Звездоносце. И стал разменивать свою вторую студенческую пятилетку.

## **Здесь я был своим**

В закатном студенчестве и сколько-то потом я был своим в семье одного из главных наших железнодорожных начальников, в приметном доме на углу Цвиллинга и площади Революции. Здание выстроила Южно-Уральская железная дорога и, конечно, в таком престижном «особняке» мелкой сошки не водилось. Глава столь памятной мне семьи был не очень отдаленным родичем, чуть ли не каким-то дядей Марины Владимировой, во французестве Влади. Да-да, той самой Марины Влади, что стала нашей киногероиней после роли молодой «ведьмочки» в ленте по повести Куприна из белорусских «пуц». Был Александр Семенович родом из Ростова-на-Дону, и если бы не Октябрь, наследовал не один «доходный дом». Чувствовалась чуть ли не голубая кровь, дворянская порода. Кавалергард! Стать не терял ни в болезнях, ни в возрасте. После инфаркта обливался ледяной водой, и до последнего делал физзарядку. По воскресеньям Александр Семенович свершал утренний променаж, любил ходить на рынок, покупать семечки и вечером угощать ими всех нас, юных друзей дома. Хозяйка же Грета Абрамовна была небольшого росточка, пухленькая, веселого, доброго нрава, и откровенно библейского вида.

Нас, вечно полуголодных молодых людей, в основном, политехнической альма-матер, конечно, привлекало радушие и хлебосольство этого дома. Что-что, а чаепитие тут было обязательно, частенько и более основательное застолье. А еще ждала интеллигентная обстановка, в которой так завидно было блеснуть эрудицией и умными мыслями. После вуза, при отработке диплома в забайкальской «геологии», наведываясь в Челябинск, я, не чувствуя особых неловкостей, вваливался сюда, и на мою челябин-

скую побывку кров и стол здесь были обеспечены. Лишь в одном я чувствовал неудобство — очень уж громко громыхал трамвай под окном комнаты, в которой мне стелили постель на диване.

Завлекало нас, юнцов, не только хлебосольство и радушие, домашняя обстановка этого адреса, кто прошел общежитский «уют» знает, какая тоска по ней одолевает. Хозяйка в начале войны вывезла из-под бомбежек и артобстрела грудных дочек-двойняшек. И это было чудом, памятью о котором служила откровенно уродливая ваза, стоявшая в гостиной на самом видном, почетном месте. Отлитая из синего стекла, наподобие берцовой кости, она была помечена весьма приметной щербинкой. Осколок вражеской бомбы черкнул по ней, разворотив багажный тук по-соседству с близняшками.

Другого чуда — моего породнения с Мариной Влади, а через нее и с самим Высоцким, через одну из близняшек не произошло. Чуть-чуть было, да чуть-чуть не считается, а вот другу моему, которого я ввел в эту семью, повезло больше. С другой близняшкой у него все сладилось аж до внуков. Ну да мой друг не мне чета. Хозяйка дома, которая до конца благоволила ко мне по-матерински, невзирая на несвершившееся родство, признавалась мне во всегдашней доброй улыбке: «Таких зятьев больше не бывает». Я ей охотно верю. Югинз такой и есть, женщинам всех возрастов обаяшка, по-современному, очень даже «коммуникабельный».

Давным-давно не бывал я в этом приметном угловом доме, не у кого стало здесь бывать. Сначала не стало главы семьи. Едва-едва я успел его проводить, заскочил перед самым выносом из квартиры. Почти все, чью юность согрело гостеприимство этого дома, кто входил через него в челябинскую интеллигенцию, уже основательно потертые житухой, пришли тогда. С хозяйкой дома я-таки и не простился, проглядел «умирашку» в «Вечерке». Я ведь не знал, что она прожила чуть ли не до золотой свадьбы под девичьей фамилией.

После тестя с тещей в памятной мне на всю жизнь квартире, потом хозяйничал мой друг с одной из близняшек, растил детей и писал диссертации. Он стал здесь доктором технических наук, одним из ведущих специалистов страны по тяжелым тракторам и замдиректора Челябинского филиала научно-исследовательского

автотракторного института — ЧФ НАТИ (как его теперь называть?), дедом, и, чуть ли, ни первым в городе владельцем «тойоты». А потом и моего друга в этой квартире не стало. Сначала дочка увезла на историческую родину внука. Потом улетела супруга со свекровью, его матерью Викторией Самойловой. Сам он с сыном уехал автоходом до Одессы, а там морем.

Автомобилист с детства, еще «папа Володя» на ЧТЗ заработал ударным инженерным трудом «москвичок» в послевоенные годы. Даже по этому можно судить, что был он там в заслугах, просто так тогда легковушки не приобретаешь, тогда, по-моему, и очередей-то на них не было, премировали машиной, продавали по заслуженным спискам. С папиной легкой руки, легкой баранки того «москвича» в ногу со временем пересаживался мой друг Югинз с модели на модель. Ушлый автомобилист, да еще с дипломом нашего Автотракторного, он имел кредо — не нагонять много километров. Еще машинешка крутит колеса как надо, а он ее уже на «комиссионку» (просто так не продашь, только через магазин): «Через... (сколько тысяч «кэмэ» не помню) уже не ты на машине, а она над тобой», и приглашает обмыть-обкатать новую. Последней в его руках на челябинских улицах бегала «тойота». Шла уже ельцестройка, рынок захлестнул все и вся, в основном, из-за открытого настерж зарубежья, иномарки загнали в угол отечественный автопром, та машина, по-моему, была первой у нас из Японии.

Причина, конечно, была более серьезная, но та «тойота» вроде как стала поводом их отъезда. При мне супруга-близняшка, заметив на дверце нацарапанное юным острословом известное русское слово, громко и зло выкрикнула: «И когда это мы наконец-то уедем из этой долбанной (а ведь интеллигентка в четвертом или пятом колене) страны!». Собственно, она и была инициатором-убедителем отъезда, Югинз на это долго не хотел согласиться. Волн переселения, как известно, было не счесть, разрешали, запрещали, и снова разрешали в накалах «юдофобии» и «любви» к Израилю. Мой мудрый друг тормозил на каждой крутой волне переселения: «Там же, Саня, полупустыня. Днем жарко, ночью холодно, и за каждым углом араб с ружьем». Но вот уехал, допилила близняшка. Уехал он на обесщеченной «тойоте» самоходом до Одессы. Там, говорят, тогда в морском и воздушном портах объявляли по

радио: «Пассажиры, отбывающие в Израиль на постоянное место жительства, зайдите в администрацию для вручения медали «За освобождение Одессы». «Тойоту» отсюда он довез до исторической родины на пароме, в то время уже ходил, Ельцин снял все запреты, хоть «ночные вазы» грузите. Там, верный своему принципу, пришло время, загнал мой друг «тойоту» и обрел новую иномарку. Связь с южной страной постоянная (сколько наших там, не счесть, и оставшиеся россиянами наезжают туда наведать родных израильтян, потому и очень в курсе его дел. Долго был на подсосе, но в конце концов стал при деньгах. Парень способный, он и там нашел, как заработать, хотя и, конечно, не по своей учено-тракторной части и уровню.

Информация моих агентов нарастала так. Дочь сразу же устроилась по музыкальной части, супруга, через сколько-то по приезду стала вроде домашней няни с музыкальным уклоном. Сын, благополучно отдав воинский долг своей новой родине, сколько-то поиграл на трубе (музучилище в Челябинске с джазовым уклоном), но что-то не сыгралось, и ушел в автосервис. У главы семьи не складывалось дольше остальных. Ученым-трактористам, даже докторам технических наук, там просто нечего делать. Информация о нем просто удивляла. Сначала ему выдавали стипендию (!) в техническом колледже, потом мне вдруг сообщили, что он с супругой в оранжерее. У меня глаза на лоб, до чего же надо сломить гордого моего друга, чтобы довести до копания, хоть и в оранжерее, но в земле. Но оказалось, «оранжерея» в кавычках, потому что бывшие наши и там не потеряли чувство юмора. Ну а еврейский юмор, как известно, с особой изюминкой и по жизни. Иосиф Бродский как-то звонит своим из-за океана. Мама, понятно, спрашивает: «Как живешь, что кушаешь?» Он ей: «Сейчас ем омаров». Она: «Что такое?» Он: «Что-то вроде раков». Мама в слезах папе: «Ося плохо живет. Ест всякую гадость!».

Оказывается, «оранжереей» там называется поселение, куда свозят новообращенных израильтян, которые в иных странах много в чем преуспели, но здесь в них никакой надобности. Мой друг попал в число таковых. В «оранжерее» заслуженных иммигрантов поддерживают морально и материально, охраняют от арабов, словом, полные тепличные условия. Выехал из «оранжереи» —

переходи на вольные хлеба. Он выехал и потихоньку стал зарабатывать... в торговле нашими тракторами в ближнем зарубежье. Вроде мимоездом даже наезжал в Челябинск, но не позвонил.

В конце концов, встал на ноги, расправил крылья. С его-то светлой головой! Будто управляет целой фирмой по переводу бензиновых автодвижков на более дешевый газ, и сын в этом семейном деле. Делают особые вставки в карбюратор. Будто основной спрос в Индии, и он уже свободно лопочет не только на иврите, но и иъясняется на хинди. Как не поверить, с его-то словесными способностями. Будто у него то ли в Дели, то ли в Бомбее свой офис и жилье. Там вырос целый еврейский квартал, «телик» передавал уже о теракте в нем. В Израиле будто у него особняк чуть ли не на берегу моря, чаша полная. Словом, все у него налажилось, толковый человек нигде не пропадет, всюду найдет место под солнцем. Интересно, победил ли он гайморит?

А мне жаль. Он же «тракторист» общероссийской величины. Остался бы, вышел в светила, сейчас снова ученые в цене. И еще... Родители-то двойняшек и его отец о стались у нас. Ихних больше ни души. Навестил бы, да не знаю, где покоятся. Одно лишь могу, проходя по Цвиллинга, поднять глаза на окна их бывшей квартиры, где столь было доброго, светлого, памятного душе. С вечной благодарностью. Мир праху вашему в забытом всеми пристанище на вечном покое. И простите нам бурьян забвения.

## **Возвращение в круги своя. Осень-64**

«И птица летит в гнездо свое», — сказал в свое время белорусский мыслитель Франциск Скорина. Вот и я. Отрубил за диплом от звонка до звонка положенные три года, вдосталь налетался по бескрайним просторам Сибири и Забайкалья, механиком озабоченный рабочим состоянием всякой техникой геологоразведочных партий, и потянуло меня в родные края. Отгулял я по увольнению три месяца, успев стать студентом Литинститута, хотелось бы поболее, но кодекс трудовой не велит, стаж прервется, надо возобновлять записи в «трудовой», на работу устраиваться. С этим мне было проще некуда. На автотранспорте тогда еще дипломированных спецов было раз-два и обчелся, родная кафедра — единственная

на Урале и в пол-Сибири. Но в автохозяйства меня не тянуло. Вечными ненормированными проблемами, машинешками (ломаются, хоть и железные) и шоферней (контингент еще тот!) накушался в геологии больше, чем хотелось. Можно повыбирать и новинку, везде наши атешники, и каждый приглашает.

Я снизошел до ЧФ НАТИ — Челябинский филиал Научно-исследовательского автотракторного института, открывшийся в городе в мое отсутствие. К моему приезду здесь не набрали еще штатного расписания, большая часть сотрудников были наши. Вышел я туда на работу, будто на родной АТ-фак вернулся, знакомые все лица. И с жильем решилось все без напряжения, тотчас в общаге место дали, не чета студенческому, общежитие итээровское ЧТЗ. Единственный сожитель, правда, изводил меня суперздоровой страстью к свежему воздуху. Уж на что я по геологии к нему стал привычен, но попробуй-ка в декабре с открытым окошком.

Место работы изводило меня дыхательной противоположностью. Филиалу далеко ещё было тогда до собственных корпусов, и ЧТЗ приютил его поначалу в довоенном бараке в самых-самых глубинных закоулках заводской территории. Столько ни ходил я туда на работу, без провожатого найти мне было тот барак дохлое дело. Однако направление, куда идти, не спутать ни с чем. Барак доживал свой век позади литейных корпусов, и дух формовочной гари и прочей сопутствующей вони был столь неустраним, что моя тогдашняя девушка даже после того, как я приму душ перед свиданием, морщилась от ничем невымываемого запаха моих волос.

Рабочие условия тоже оставляли желать лучшего. В комнатике со спортзал впахнуто до дюжины отделов, в одном из которых я был вынужден влазить в разработки непонятно чего. За полусогнуто столов и кульманов впритык с узеньким проходом в дверь, но ты в нее лишь туда и обратно, потому что за наличие тебя на рабочем месте контроль скажу я вам. Хоть спи, но будь за рабочим столом. Они (наука же!), там внедряли-прорабатывали, по-современному, так какую-то инновационную систему нормирования рабочего времени, которая пунктуально фиксировала все отлучки до минутки, и плевать ей было на перекур ли ты вышел сачкануть, или случился у тебя вдруг, по-медицински, так диарея, а потому надо



немедленно в конец коридора. В конце месяца «наука» подбивала бабки, и оказывалось, что минуты отлучек набегают в целые дни, которые не оплачивались. Старички, конечно, научились водить «науку» за нос, известно, как у нас это умеют. Иные даже больше времени, чем за столом проводили в курильном закутке, где во всю стену распласталась научно разработанная система прогнозов футбольного чемпионата и занимала все свободные от расчетов умы. Но мы, зеленые исследователи тракторных свойств, от «науки» страдали весьма и весьма.

Маялся я маялся, и вскорости взмолился перед Югинзом, который за время моей «геологии» успел не только закончить АТ-фак, распределиться в ЧФ, но и стать здесь завотделом. Он-то и привел меня в «чефышный» барак. Вмолился я, ты меня привел сюда, ты и уводи без последствий в «трудовой». Начал я готовить отходной маневр на автотранспорт, на фоне науки так уж скучать начал по гаражной суете, автально-солидольно-аккумуляторно-выхлопным запахам, каверзам-капризам «ласточек», по шоферскому мужеству и жульничеству. Но Югинз, а вернее Владимир Львович — политехнический Мафусаил, начавший преподавать теплотехнику с первых дней альма-матер и знавший в «политехе» все и вся, доложил мне преинтереснейшую вещь. На моей родной кафедре прорисовывается вакансия ассистента. Я — туда. Вечный «завкаф» Лев Григорьевич Анискин меня порадовал узнаванием и надеждой: «Как же, помню... Подумаем. Подойди через неделю».

В общем, мне повезло. Среди учебного года преподавателя брать, что коней на переправе менять. Ждать толкового выпускника до осени, значит, целый семестр распределять среди «препов» дополнительную нагрузку, да возни с ним больше, чем со мной, натаскивать надо. Может, и лучше, чем у меня, отметки в «матрикуле»<sup>1</sup>, но за мной практика! Да где! К месту моей работы Анискин отнесся с уважением: «Думал, сбежишь, не выдержишь». На кафедре я был интересен, что в чистом поле вел и ремонт, и службу техники, а разброс её каков — «авто» всех марок, трактора, экскаваторы, движки, буровые, шахтовое оборудование... в общем, есть чем обогатить из практики лекционный материал.

---

<sup>1</sup> «Матрикул» — латинское название зачетной книжки.

И опыт занятий есть, вел в геологоразведке курсы шоферов даже первого класса. В общем, во втором семестре я уже ассистентничал на родной кафедре.

Словом, снова был я в родном «политехе», будто и не выходил отсюда три года назад, но в аудитории встал уже «по другую сторону баррикад». На кафедру заходил уже не по поводу своих зачетов, а как свой среди своих. Кто меня учил, со мной теперь на равных, я для них уже Александр Павлович.

## На родной кафедре. 1965

Вел родную кафедру, как и в мои студенческие времена, Анискин. Он же по науке и хозтематике руководил начатым без меня воздушным обогревом автомобилей, официально — «Разработка методов и средств безгаражного содержания автомобилей в условиях низких температур». До нашей геологической глубинки воздухообогрев ещё не доходил, а ведь будто для нас было придумано. Ох, как маялись мы под открытым небом за 30 и 40 ниже нуля. По часу, а то и больше жгли костры под движком, палили поддон паяльной лампой, разогревая масло, движок раз за разом подливая кипятком. МАЗы с их дизелями вообще не глушили с осени по весну, запустить в морозы просто невозможно. Челябинский воздухо- и электрообогрев начинал нагонять тепло на автостоянках везде, где торжествовали холода. «Вентиляционная» паутина воздухообогревной разводки опутывала автохозяйства от Карелии до Камчатки. Была зато и отдача на кафедре — «авторские свидетельства» на изобретения, медали на ВДНХ и кандидатские диссертации. Весомый прибавок к окладу (105 рублей у ассистента) при закрытии хозтем очень даже помнится. Укреплялась и материальная база кафедры, была в хоздоговоре такая статья. Что только ни приобретали на обогревную выручку, на ней, собственно, кафедра неплохую обрела базу.

Если уж кого называть живой историей факультета, так, конечно, Анискина. В каждой ее главе он в первых строках. Фамилия известная после киношки о сельском участковом с Жаровым в нем, наш Анискин сход ростом — гренадер, с юморком, но построже. Лев Григорьевич из числа первых студентов и спортсменов,

даже в спортивном параде на Красной площади в честь Победы летом 1945 года участвовал. За полвека на факультете он в числе ведущих, как в учебе, так и в «препах», был «завкафом», был и деканом, не был в ведущих лишь когда уходил в институтское руководство — проректором. Несмотря на руководство, всегда был «свой среди своих». Мне же он ещё и вроде как из одной деревни, хотя оба коренные горожане. Под Геологической сквер со спортдворцом и музейной пирамидой ушла наша с ним «деревня». Родом он из Бульчевки, здесь провел свое детство. Они держали лошадей, вот его первый транспорт, и купал он лошадок в Миассе, где я купался.

В мою ассистентскую пору кафедра, как говорится, жила полноценной жизнью, причем вся наука тогда была задействована на практику. Полкафедры разъезжала «по холодам», внедряя воздухо- и прочий обогрев, попутно набирая материал на кандидатские диссертации. Самым приметным был Королев. Гвардейского роста, как и Анискин, но с перебором веса, добродушно улыбчив, с хохминкой. Закончил войну двадцатилетним, но успел заслужить в десанте боевые медали, последнюю «За взятие Вены». Не пройдешь мимо его имени — Рэм Александрович, считали, по имени он и преподавал ремонт автотехники, потому что в имени его будто «Р — ремонт, Э — эксплуатация, М — механизация».

Диагностика была вторым крупным и не менее заметным делом в автомобильной практике, чем обогрев. Причем, если со временем, по ходу обустройства автохозяйств теплыми боксами обогрев снизошел на нет, то диагностика вошла в число главенствующих направлений кафедры. Как начали её в мою пору, так вошли с ней в новый век. До того для снятия параметров гоняли авто по дорогам, а тут загоняешь авто на бегунки-ролики, крутишь их электродвигателем, и испытуемая машина на них, как белка в колесе, «бежит», а ты спокойненько подключаешь агрегаты приборы и снимаешь показания. Куда как удобно!

Диагностический триумф кафедры пришелся позднее, уже без Игоря Аринина (не намного старше), который начинал. Не знаю подробностей, но вдруг он снялся и укатил во Владимир и не один с нашего «политеха». Там разворачивали свой институт, и ему дали

автомобильную кафедру. В Семидесятые годы встречался с ним там, но попутно. В его преподавателях оказались Римма Назарова и Александр Юрц из нашей группы. Аринин с моей однокашницей был в двоюродном родстве, а мой тезка с ним породнился, взяв да женившись на Римме. Так что очень осуждаемые в советское время родственные связи налицо, но ребята толковые. Римма и в студентках была серьезная, а тезка хоть и хохмач по жизни, в технике даже небесталанный. Римму по приезду уже застал кандидаткой, тезка остепенился чуть позднее.

С уходом Аринина с кафедры диагностика не заглохла. При мне вернулся из московской аспирантуры Валерий Прокопьев, он-то и вдохнул в нее новое дыхание. Совсем не через много времени под его началом заработал первый «полнокомплектный стенд диагностики». И пошло-покатило-поехало доброе дело — стенд за стендом, всего за десяток модификаций — более 800 диагностических стендов на все случаи автомобильной жизни, а за них за два десятка медалей разных номинаций и прочие награды. Со своими стендами кафедра вышла на международный уровень, так авторитетна в этом деле, что, по-современному, так ходит в «дилерах», соратник и представитель авторитетных зарубежных фирм.

Прокопьев ввел родной коллектив в науку. Вместе с ученым званием привез он из Москвы и невиданную доселе у нас тему, которая под его началом за десятилетия разработки принесла кафедре в научно-техническом мире заслуженную славу, образовавшись в вузовско-академическую лабораторию «Триботехника» и научную школу гидродинамической теории смазки. По ней стали докторами сам Прокопьев, Ю. В. Рождественский, кандидатами за десяток сотрудников.

Чаще, да и ближе других по жизни и после кафедры общался я с Эрвином Рунгом. По-свойски настроились мы с ним еще в мое старшекурство, когда он пришел ведать лабораторией из милиции. Голубоглазый блондин в неснимаемой милицейской форме (одеть больше было нечего), эдакий «ариец» из фильмов о войне, сразу же стал своим среди нас, студентов. Держит себя ровней, шутки понимает, и, вообще, сам студент (тогда заканчивал вечернее обучение). Рунг сразу же стал командиром нашей дружины и бригадила. Сколько рейдов, дежурств, задержаний проделали

мы под его началом. В политехнической округе милиция не появлялась, при нас делать ей было нечего. После учебы сколько атешников одели милицейскую форму, и Рунг в профориентации сыграл не последнюю скрипку.

Вернулся я на кафедру, он уже ходил в старших «преподах» и сразу признал за ровню. Запнулся на его отчестве — Рейнгольдович, обращаться разрешил просто по имени. После кафедры, уже в газетчиках захожу по материалу в директорский кабинет автотехникума, а он улыбается мне на всю клавиатуру крепких зубов. Лет пять он там директорствовал, пока не вернулся в «Политех», в Восьмидесятые годы был проректором. В Девяностые возглавлял фирму, которая внедряла какие-то учебные системы.

Последний деловой разговор с ним состоялся, когда готовил я заметных атешников в областную энциклопедию, его, конечно, не пропустил. Снова увидел его «клавиатуру» в улыбке крупным планом я в газете. На другом снимке на полосе он парнишкой в коротких штанишках, но уже большенький, прическа даже с пробором. И подпись: «Таким Эрвин учился в гимназии для способных детей в Чехословакии». Интересно! Как это так, ничего он такого мне не говорил. А я то думал он из ссыльных немцев Поволжья.

Оказалось, Рунг родом из-под Каховки, а дядя его тот самый знаменитый Отто Шмидт, что в довоенные годы был космически знаменит как полярник. В войну Рунги оказались в оккупации, а Эрвин стал не простым «остдойчем», потому что имел не только арийский вид, но и заметные способности. В числе «особых», его и направили в особую гимназию в Чехословакии. Кого там из них готовили гитлеровские «макаренки», гадать нечего, наверняка доблестных рыцарей «третьего рейха». Помешал разгром и наша победа. Эрвина вернули к родным, всех вместе в «телятнике» привезли на Урал и, между прочим, в мой родной Златоуст. Но мы там еще не встретились, а лишь в Челябинске, куда Рунги переехали несколько раньше меня. Узнал я в газете со снимками, что в великую волну возвращения немцев на историческую родину в Девяностые годы Эрвин Рунг выяснил в архивах, что, оказывается, еще в гимназическую пору ему оформили документы на германское гражданство. Но он им не воспользовался, остался в «суверенной России». «Отечество мы не меняем», — отвечивал

мне высоким стилем и завершил русской поговоркой: «Хорошо там, где нас нет, а мне и тут хорошо».

## **Идем на прорыв. 1966**

С родной кафедры я был переведен вместе с Евгением Федоровичем Кичигиным на «ДВС» — Двигатели внутреннего сгорания в приказном порядке. Хотелось бы думать, на усиление, но, думается, нас перевели просто по производственной необходимости. К середине Шестидесятых годов пошла мода на автоматизацию и, конечно же, как везде, стали её «внедрять» в вузовское образование. Пришла разнарядка и на АТ-факультет, где о ней до того слухом не слыхивали. Могу представить недоумение и головную боль «отцов факультета». Предмет включен в учебную программу со следующего учебного года, а что это такое никому не известно. Логично бы прислать кого-нибудь с Приборостроительного или на худой конец Энергофака, там приборы всякие, по крайней мере, изучают токи, но где же там знатоков на всех набраться, ведь разом на все факультеты эту автоматику ввели. Так что начинайте, ребята, своими силами. Анискину пришлось быть главным головноболезельщиком по этому поводу, на то время и декан и «завкаф». Он и решил вписать «автоматику» на ДВС, на движке больше всего хитростей всяких, и так как с кадрами тут было туго, мобилизовать сюда на «автоматчиков» с других кафедр. Представляю как крутили-вертели «завкафы», мол, у самих «препов» в обрез, пришлось проредить родную кафедру. Вот и пал выбор на нас с Кичигиным, при этом был учтен и возраст наш, и способности-возможности.

Кичигин был из ветеранов кафедры и выпускников-фронтовиков. 21 год было ему в дни победы, но он уже повоевал и еще сколько-то служил в артиллерийских офицерах. Окончил он «политех» (с отличием!) незадолго до моего поступления, а нам уже преподавал, кандидатскую диссертацию по ремонту автомобилей защитил он в канун моего возвращения на кафедру. Так что оба мы свежие, он — кандидат, я — ассистент, оба бывалые и в расцвете творческих сил, нам и осваивать новую, неведомую одинаково всем дисциплину. Он определен был на чтение лекций по автоматике,

я направлен на «практические» дела, в чем у Анискина был еще резон, в науке я ещё не определился, не так досадно, как уже определившемуся осваивать новь. И потом, ему надо были места для вот-вот долженствующих вернуться из московской аспирантуры Прокопьева и его одноклассника Геннадия Петракова. Вот и убивал нашим переводом хитромудрый кафедральный «лев» сразу двух зайцев — и «автоматическую» брешь нами прикрыл, и места под «москвичей» зарезервировал. Одно, как оказалось, лишнее, Петраков уехал в Ленинград, где определился в дизельном институте.

Нам с Кичигиным была подобрана на семестр для изучения всевозможная литература и методразработки (в каких-то центральных вузах «автоматику» уже опробовали) и с началом нового учебного года — в бой! Следует заметить, что это заметное событие было усилено ещё одним знаменательным для факультета. Проспект напротив западного крыла «политеха» украсил новый белостенный корпус (в дальнейшем Южный), куда и въехал АТ-факультет. Я там справил сразу два новоселья, приняв две лаборатории. Лаборатория автоматики при моем маломальском участии специалистами с Приборостроительного была уставлена светло-серыми ящиками-блоками автоматических систем. Они светились разноцветными лампочками контроля и подсветки разных циферблатов, слаженно гудели и тикали. Увы, далеко не всегда, системы часто выходили из строя. В том, что «первый блин — комом!» — кулинарный опыт не стареет и в самой современной технике, здесь я убедился ещё раз. К месту оказался ещё один современный опыт: «Чем сложнее техника, тем чаще она ломается и дольше чинится». Что мне в основном и приходилось делать не по знанию, а по инструкции и наитию. Но учебную программу по автоматике мы с Евгением Федоровичем преподавали, зачеты в «матрикулы» по новому курсу поставили. Чем закончилась «автоматическая» кампания, не знаю, через десятилетия при работе над факультетской книгой ничего там знакомого по своей лаборатории уже не встречал.

«Автоматических» часов было недостаточно до полной ассистентской нагрузки, и меня использовали и по иному профилю, где все было знакомо со студенчества. Конечно, в сами движки «двигателисты» меня не пускали, сам понимал, что сравнению с

ними слабоват, мне поручали сопутствующее. Потому и хозяйничал я в двух лабораториях, что вел еще «ГСМ» (горюче-смазочные материалы) — и лекции, и лабораторные, и дневников, и заочников, и вечерников.

С заочниками-вечерниками я любил заниматься. Народ серьезный к учебе, без диплома им нельзя, во времени экономный, и мне ровня по возрасту, есть и постарше. С ними я успешно внедрял на лабораторных научную организацию труда. Заведено в лабораторных так, получил задание на опыт — настрой приборы, провел — разбери, на новом опыте — весь полный оборот. А мы приборы не разбирали, пока вся группа на них опыты не пройдет. Важен результат, а не действие. Сколько времени в экономии! Запомнилась вечерняя группа гаишников, они прямо с дежурства на занятия при погонах приходили. Сплошь лейтенанты, а староста — капитан Дель. Потом я с ним не один газетный материал подготовил, способный офицер, вырос на глазах, глянь, а он уже зам. и начальник ГАИ Челябинска. Закончил Артур Адамович свою службу «по охране порядка на дорогах» главным гаишником области, в отставку ушел полковником милиции.

На лабораторных у меня все обходилось как по маслу, а вот на лекциях произошел срыв в прямом смысле слова. Голос сорвал на поточной лекции. Поточные аудитории в новом корпусе на два этажа, а я старательный, почти кричу, стараясь донести знания и до галерки. Ну и сорвал голос, да странно как-то, не разом дал петуха. Начну лекцию нормально, во весь голос, на «галерке» не дремлют, но по ходу мой глас знаний все тише и тише, в конце концов, гаснет почти на нет. Не то, что «галерка», даже старательный «партер» в дремоту впадает под мой баюкающий полусепок. Что делать? Пошел в студенческую поликлинику, что въехала в свое время вместе со мной в общагу. Отоларинголог, так вроде по-медицински, не выговоришь, а потому просто «ухо-горло-нос», сказал, что у меня с горлом не по его части и дал направление в единственный в области (!) кабинет, где возвращают теряющиеся голоса. В том числе даже певцов из нашей оперы. Вот как по жизни, в студентах пел со сцены оперы в студенческом хоре под началом самого хормейстера оперы Борисова, и в преподавателях лечусь как оперный



артист. Много чего делали с моими голосовыми связками, особо запомнилось как мазали какой-то сладкой гадостью. Бр-р! В конце концов, голосу вернули должную громкость, но не надежность, строго-настрого предупредили — осторожно с напрягом, можно и, вообще, перейти на шепот навсегда, как Андрей Вознесенский на закате жизни. И стал я вроде как голосовым инвалидом, неполноценным на поточные лекции.

К «двигателистам» я попал в пору местных больших перемен, в их внутренние причины я не вникал, внешне же они проявились в смене «завкафа». Срок А. П. Сташкевича закончился, и согласно уставу высшей школы состоялись перевыборы нового. Им стал пришедший со мной с «Автотранспорта» Кичигин, а Сташкевич ушел в ЧФ НАТИ, откуда совсем недавно ушел я. Конечно, если по-ломоносовски, так «что в одном месте убудет, в другом прибудет», но явно, замена далеко неравнозначная, Сташкевич — корифей, а я что.

Глубинные же перемены на кафедре стали происходить годами раньше, когда сюда пришел И. И. Вибе из Свердловска, где был «завкафом» в сельхозвузе. Двигателем Иван Иванович был всю свою инженерную жизнь, даже кандидатом наук еще с довоенья, как и «завкафом» тоже. Проклятая война ударила по его начатой блестяще карьере, за немецкую кровь загнала в шахтовые механики. Как писал наш оазисный д-р Лом, Гитлер поместил свастику немцев позорным пятном. После реабилитации он вернулся в прерванную науку и высшую школу. К приходу к нам уже был известен среди двигателистов страны как «Иван-цикл», а на диаграмме появилась точка сгорания Вибе, но докторскую диссертацию Иван Иванович защитил лишь у нас. Диссертация была изложена в вышедшей накануне книге с очень обтекаемым названием «Новое о рабочем цикле двигателей».

Вот уж кто для меня, что с детства среди немцев, никак на них не походил. С таким-то русским носищем, именно про такие говорят — «картошкой», мужик мужиком. Однако приметен и благородной сединой — «негативной» головой.

На кафедре Вибе сразу стал в авторитете. Самый старший до него «Батя» — В. М. Пискунов оказался на десяток лет младше, но главное в признании, конечно, не в этом. Иван Иванович дви-

гателист не только по знаниям, сгорание — «образ его жизни». Таких истовых двигателистов у нас еще не было, тихий-то тихий, но какой характер. Ему: «Иван Иванович, надо в челябинский «политех», поднимать кафедру двигателей. Все для вас условия». А он: «Не переведете моих аспирантов со мной, разговора нет». И приехал Вибе к нам со своими «деревенщиками» Шароглазовым и Фарафоновым, и хочешь не хочешь, а пришлось из-за них закладывать на факультете аспирантуру.

Подстать шефу и его аспиранты — ребята негромкие и неприемные. Шароглазов говорил вполголоса, Фарафонов, вообще, предпочитал отмалчиваться, вдобавок — «старик», на целый десяток лет нас старше. Кафедральную молодежь помимо меня с Шароглазовым пополнял еще один вибовский аспирант Ставров (страдалец по имени Адольф, это надо же, тезка по Гитлеру, о чем отец с матерью думали!). По окончании нашей танкодизельной группы Адольф заслужил славу в лаборатории танковых двигателей ЧТЗ, даже замом стал. Вибе разворачивал лабораторию при кафедре и переманил толкового прибориста в свою аспирантуру. Этот не то, что негромкий Шароглазов, за себя постоит. Как и Драгунов — четвертый в нашем молодом квартете. Этот в отличие от аспирантско-вибовской троицы, как и я, ассистент, но в отличие от меня уже раскошегаривал кандидатскую по центробежной очистке топлива под началом «Бати» — Пискунова.

Лаборатория — вот что было тогда главным для двигателистов. Они рвались в науку и знали, без испытательных стендов ни просвета. Им отвели западную часть теплотехнического корпуса, они и дневали, и ночевали здесь «на стройке века». Впрочем, на кафедре все мы мимоходом, плотно жили, вместе собирались лишь на заседания кафедры. Нам на них было скучновато, все эти обязательные разговоры по нагрузкам, планам, циркулярам были не для нас. «Старики» и без нас решат все сами, а поднять руку «за» можно и без слушания. А впрочем, кто на этих сборах слушал в полную? Иван Иванович вроде весь внимание на говорящего, а мысли где? Нет-нет да чирк-чирк на бумажке. «Батя» вроде как дремлет, но это как сказать, на зачетах он тоже так вот, а начнешь пороть ахинею, глазки пробуждаются и хватя тебя на слабину вопросом, добить тебя ему раз плюнуть. «Батя» для нас пример не лучший,

хотя и моторист с довоенного харьковской поры легендарного моторного завода № 75, с которого пошел дизельный уникум В-2. В эвакуированной траштутинской<sup>1</sup> команде СКБ-75 оказался на Кировском танковом — ЧТЗ военных лет, где совершенствовал топливную аппаратуру. Отсюда в числе пионеров пришел на факультет и кафедру. Из числа организаторов — первых «препов» и «завкафов» (11 лет). Кандидатскую защитил, подумать только, еще в Сорок восьмом и почти 20 лет ни с места, как говорится, стрижет купоны с кандидатской. Такой нам не в пример.

Словом, все мы старательно делаем вид, что слушаем, но у каждого в голове свое, общее же у нас, молодых, потихоньку перемывать косточки «старичью», тут нам авторитетов нет. Особенно интересно нам с Синяхиным, схожего с Шароглазовым цыганской смолью и очками, шутку не понимает ни в какую. Доведем до белого каления и с садистским удовольствием признаемся, мол, «дядя шутит». На что укор однозначный: «Вы шутите, а у меня от ваших шуток душа спекается». Особенно остроумен на приколы Драгунов, это он пустил слух, будто тот работает над диссертацией по радиатору из самого доступного материала — дерева (у него же теплопроводность на нулях).

Но вот и обязательные разговоры иссякли, заседание запроколировано, и каждый по своим делам. А работы у каждого столько, начать да кончить. Кафедра встает на ноги, а расправлять ей крылья нам, молодым. Мы воспитаны на песнях и знаем: «Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет». Пожалуйста, только не мешайте.

### «Двигательское трио»

Кафедральный молодежный квартет с моим уходом в газету в Шестьдесят седьмом году уменьшился до трио, которое не теряло в численности и в новом веке, но уже на факультете. Эту тройцу разделили по трем кафедрам, поставив во главе. Их время в этом качестве пришло уже в Шестьдесят девятом году с уходом из жизни Учителя. И. И. Вибе скончался в декабре, и его место,

<sup>1</sup> Траштутин Иван Яковлевич — корифей танкового дизелестроения, дважды Герой Социалистического Труда.

занял только что защитившийся, «свежий» кандидат Драгунов. В середине Семидесятых годов его сменил Шароглазов, но Драгунова «завкафство» на этом не закончилось, дали защитить докторскую и избрали заведовать кафедрой «Автомобили». Шароглазов же разменял во главе родной кафедры четыре (!) десятилетия. Как и Драгунов в середине Восьмидесятых годов после защиты докторской диссертации покинул кафедру Ставров. Он возглавил недавно созданную кафедру «Эксплуатация автотранспорта», которая выросла из специальности, записанной в моем дипломе.

Получается, уже за четверть века эта славная тройца по разным кафедрам, но рука не подымается разъединить это «двигательское трио». Они доктора наук по двигателям, и двигателям служат всю свою жизнь. О них вместе я писал в книге о факультете.

**Из десанта Вибе.** «Десант Вибе» — так называют молодых специалистов, аспирантов, прибывших с известным двигатelistом И. И. Вибе на АТ-факультет. Борис Александрович Шароглазов — из «десанта Вибе», учился у него студентом Свердловского сельскохозяйственного института. Пожалуй, единственный случай на наших кафедрах, когда на них появился коллега с зеленым «поплавком». Родом он из сибирского села, и хотя к окончанию школы уже был горожанином, родители, не приняв заводской жизни, мечтали вернуться на родину с сыном — инженером.

Учеба у «механизатора» Бориса Шароглазова закончилась, но он был распределен в научно-исследовательский институт. Сыграла тут свою роль Целина, для которой тогда было все и вся. Среди всего прочего близ целинной столицы Акмолинска, ставшей Целиноградом (с началом независимости Казахстана — Акмолла, а ныне уже его столица Астана), был организован Целинный филиал ГосНИТИ, где буква «т» означала тракторную принадлежность. Главной задачей филиала было — вписать в целинную эпопею знаменитый трактор «колесный гигант К-700». Слов нет, машина была хороша, но на целинных полях чувствовала себя неуютно. Были проблемы, и большие. А тогда ведь шла большая дискуссия, кому царить на бескрайних полях — колесному слону или нашему гусеничному «ЧТЗ». Хрущев был за «Кировца», как-то в пылу дискуссионного азарта даже осадил своего оппонента: «У тебя гусеница по мозгам проехала».

Вот юный младший научный сотрудник и брошен был на доказательство преимущества колесного слона. Конкретно же он трудился над разработкой ремонтной и эксплуатационной документации для К-700. Относительно недолго, был направлен в целевую аспирантуру и стал навечно двигателистом.

Одна из первых на АТ-факультете аспирантура двигателистов И. И. Вибе, была очень даже трудовая. Они — пионеры, собственными руками (и мозгами тоже) создавали и развивали лабораторию, которая успешно действует уже пятый десяток лет. По трудам и успехам пионеров. Это были Фарафонов, Шароглазов, Ставров, Мамин, Лазарев, Лаврик... Кто их не знает на факультете, в вузе, да и вообще в отрасли!

Аспирантура целевая, и Шароглазов обязан был вернуться после защиты у нас в целинную столицу. Здесь сумел убедить, что документационная обслуга К-700 в силу сложившихся обстоятельств оказалась вне профиля его научных интересов. Нашлись понимающие люди, отпустили. Немного побыв инженером у М. Ф. Балжи, успел еще поработать с Учителем до его преждевременной кончины.

Служебная лестница Шароглазова в стенах АТ-факультета, а конкретнее — кафедры «ДВС»: аспирант, инженер, ст. научный сотрудник, ассистент, ст. преподаватель, доцент, профессор. В 1977 году был избран заведующим кафедрой, в этой должности и в новом веке. Это сколько же избирательных сроков? В самом начале зав. кафедральной карьеры, в 1979 году, защитил докторскую диссертацию. Так что все высоты достигнуты уже давно, стремиться выше вроде бы некуда. Но у него два дела, которым нет предела — преподавание и наука. Профессор Шароглазов читал и читает до десятка различных курсов. Направление научных исследований — моделирование процессов и рабочего цикла поршневых транспортных машин, защита двигателей внутреннего сгорания от тепловых и механических перегрузок.

На счету Бориса Александровича более полусотни изобретений, для преподавателя вуза это много.

**Двигателист-автомобилист.** Драгуновы — фамилия воинская, кто-то из них когда-то служил службу царскую в драгунах. Род же профессора Драгунова шахтёрский, испокон до-

бывали его мужчины уголёк, кто-то даже на Шпицбергене. Вот и выпало ему перед войной появиться на свет в столице «уральской кочегарки» — Копейске.

В политехнический он поступал без особого труда, школьная подготовка была неплохая. Исследования и совершенствование двигателей он не прерывал со студенчества ни на год, несмотря на служебные отвлечения — деканство, заведование кафедрами.

Особенность середины Пятидесятых годов общеизвестна — Планета «Целина». Атешикам — по назначению своему быть механизаторами сам бог велел быть здесь. Драгунов оказался среди целинных медалистов по заслугам. В «урожаи — 57, 58, 59» он командовал факультетским целинным отрядом, убиравшим хлеба на целинном юге области и на Кустанайщине.

В студентах Драгунов, как и другие его однокашники, в чём только не участвовал. Время было такое — пик общественной активности, энтузиазма во всём — в общественной жизни, спорте и прочем. Боксировал, к примеру, лыжи до сих пор в углу кабинета стоят — бор по соседству. Но спортом он особо не увлекался, уже тогда занимался наукой всерьёз, на СНО<sup>1</sup> уходило, в основном, его «внеурочное время». А. И. Астахов, прочно связанный с ЧТЗ, вовлёк в исследование системы охлаждения нового дизеля с наддувом для новой заводской машины Т-130. С его лёгкой руки студент почувствовал вкус и особый интерес к «науке» — НИР<sup>2</sup> и увлёкся исследованиями ДВС на всю жизнь.

Драгунов вправе гордиться, что закладывал фундамент НИР на кафедре «ДВС». В прямом смысле слова. Был среди тех, кто и котлован рыл, и фундаменты заливал, и испытательный стенд изобретал, монтировал и запускал. Потом, уже «остепенённый», он создал по соседству ещё одну лабораторию, уже отраслевую, научно-исследовательскую «Транспортные дизели», которой руководит и в новом веке. Здесь под его руководством выполнен большой цикл работ, связанных с созданием нового семейства транспортных дизелей.

---

<sup>1</sup> СНО — студенческое научное общество.

<sup>2</sup> НИР — научно-исследовательская работа.

В середине Восьмидесятых годов Геннадий Дмитриевич стал доктором технических наук, тогда же — зав. кафедрой «Автомобили и тракторы». Сказать, что он при этом горел желанием, будет не совсем точно. Его диссертационная тема «Совершенствование рабочего цикла форсированных транспортных дизелей» была очень перспективна, столько интересных идей, отраслевая лаборатория... Заведование «непрофильной кафедрой», понятно отвлекало. Более того его избирают ещё и деканом факультета. Какое сложное было время! АТ-факультет его пережил, кафедра тоже, в этом заслуга и Драгунова.

Ну а в заключение, как говорится, цифры и факты. Профессор Г. Д. Драгунов читает лекции по конструированию и расчёту автомобилей и тракторов, теории лопаточных машин, двигателей внутреннего сгорания и другие. Основатель научного направления по рабочим процессам в двигателях внутреннего сгорания с высокоэнергетическим зажиганием горючей смеси. В последние годы профессор открыл на кафедре новое направление НИР «Синтез ступенчатых передач с автоматизацией переключений без разрыва потока мощности». Очень перспективное направление, затребованное автотракторными заводами.

**Топливо арктических широт.** Ставров — челябинец. Вся жизнь здесь, лишь три года на стороне, но тоже в Челябинске, номером — Сороковке. Сюда привез его с матерью и братом отец, до поры до времени и не подозревающий об атомных делах по соседству. Он был специалистом по «драгметаллам» — золотодобыче. Занимался этим делом пока в Сорок восьмом году не послали за колючую проволоку на берег озера Иртяш. И выпало Ставрову-старшему разделить участь первых радиохимиков комбината «Маяк». Работали они с адским сырьем, а поначалу, вся защита — резиновые перчатки да фартуки. Естественно, переоблучались и многие стали «пионерами» озерского кладбища. Удивительно, но Ставров — старший остался живым и жил еще долго. А вот его супруга вынесла только пять лет Сороковки, хотя и на комбинате не работала. Переоблучиться в молодом атомграде было не мудрено где угодно. Проверяли квартиры, так у Ставровых половая тряпка у порога «звенела».

Ставров-младший окончил в Сороковке школу неплохо, поступил на Автотракторный, зачислен в «спецгруппу ДВС». Сюда

отбирали ребят знаниями покрепче и «почище» в родстве, а у него уж куда чище — из Сороковки, отец атомные бомбы делает. Эти спецы изучали танковые дизели.

По распределению попал на ЧТЗ, испытателем в лабораторию двигателей. Неплохо дело пошло. Приборы он любил и знал. За несколько лет вырос до заместителя заведующего лабораторией по оборудованию и стендам. Между прочим был в числе пионеров многотопливных танковых двигателей. Отсюда сманил его в свою аспирантуру.

Новоиспеченный аспирант с привезенными Вибе из Свердловска другими двумя — Шароглазовым и Фарафоновым был брошен на сборку принципиально нового стенда по исследованию процесса сгорания в дизелях. Ставров повел себя творчески, сконструировал особую форсунку, которую из-за особой хитромудрости пришлось изготавливать в Ленинграде. Для кандидатской материал он «наиспытывал» на своей форсунке отличный.

И. И. Вибе не только передавал свои богатые знания ученикам, он готовил им хороший старт научного марафона на всю творческую жизнь, и тут было совсем не обязательно продолжать его тематику. Так случилось со Ставровым. Делом его научно-творческой жизни стало топливо нового типа — газодыкующие конденсаты. По ним он подготовил и успешно защитил в 1986 году докторскую диссертацию. Крут поворот и в его кафедральной жизни. В 1985 году Ставров покинул родную кафедру «ДВС», его избирают зав. кафедрой «Эксплуатация автотранспорта».

Научно-исследовательская работа профессора Ставрова связана с ресурсосберегающими и экологически чистыми технологиями, эксплуатации автотранспорта, теорией, технологией и техникой транспортных систем. Опубликовано более 130 научных и методических работ. А дело жизни — газодыкующие конденсаты! Ставров занимаясь ими, за 30 лет объехал весь север страны, собрал богатейший, исчерпывающий материал о газодыкующих месторождениях, составе и особенностях их сырья. Европейский Север, Таймыр, Тюменский Север... Мерз и обмораживался, но дело двигал. Организовал и с Восьмидесятого года руководит отраслевой научно-исследовательской лабораторией (ОНИЛ) «Газодыкующие конденсаты» по проблеме использования газодыкующих конденсатов в качестве топлива



для транспорта. Последняя крупная работа — для Сургутского топливного завода. Топливо ОНИЛ стало обиходным. Встретите марки ГША, ГШЗ, ГШЛ, знайте, к ним руку приложила лаборатория Ставрова!

## **Взрыв общественной активности**

Мне, в отличие от других на кафедре много было и общественных дел, не остыл я еще от них. В механиковых заботах «геологии», текучке, сверхурочности, забылся вроде, а тут вспомнилась студенческая буча, и проснулся былой общественный дух. Вернулся в редакцию вузовской многотиражки. В институтском комитете прознали, что и помимо газет пописываю, вдобавок еще «без отрыва от производства учусь на писателя» в московском Литинституте, и провели в комитет комсомола. Преподаватели комсомольского возраста там не возбранялись, дали сектор печати.

Геологические годы вне «общества» скопили во мне столько общественной активности, что она прямо-таки рвалась из меня, а бесценный опыт с таким трудным человеческим материалом, как «партийная» шоферня (значительная прослойка бывших и будущих эков) придавал смелости, современно, так в «проектах» до наглости.

Много чего начинал я, современным языком, «новационного» на том девятом, последнем своем валу общественного рвения. Самая из самых «идей-фикс», конечно, осуществление концепции: вуз должен стать не только кузницей инженерных, но и культурных кадров, так сказать, «культтрегеров», чтобы нести культуру в рабочие массы, и, вообще, стать центром культуры. Основа в вузе есть, надо просто это столь нужное дело организовать-упорядочить и включить на полных правах в структуру «политеха». Надо открыть не более, не менее как факультет (!), так сказать, общественных профессий. Ну не Наполеон ли от общественности? Сколько-то не спал в творческом горении, пока ни пришел в комитет с «проектом века». Прослушали, озадаченно посмотрели-переглянулись, но идею одобрили: «Давай пробуй. Подключим, кого надо. Только не зарывайся». Последнее оказалось труднее всего.

Кандидат в седьмой тогда в вузе факультет получил рабочее название КЛИФ, с «клифт-штаны» по фене, ничего общего, это аббревиатура — «Культура, литература, искусство, фото». Насчет «культуры» все понятно, надо художественную самодеятельность поднять на уровень выше. «Литература» — на базе литкружка при «Кадрах», писали наши ребята уже тогда заметно: «Искусство» я имел в виду изобразительное, и тут наши «политехи» — народ небесталанный, в той же институтской стенной сатиргазете «Баня», иной раз весь вестибюль рожками, которым сами Кукрыниксы позавидуют, изрисуют. «Фото» расцветало на моих глазах, как появилась на втором этаже западного крыла институтская фотолаборатория с «отцом» всех фотожаждущих Мосеичем. Тогда уже сверкали на челябинском фотонебосклоне такие наши звезды как Юрий Теуш, Евгений Ткаченко, Леня Пикус, Борис Борблик.

«Культура» оформилась в конце концов в виде Центра культуры. «Литераторы» при «Кадрах» кучковались во все времена, составляя костяк в городском литобъединении «Экспресс». В новом веке в вузе открыли что-то вроде художественного музея и даже «искусство» преподают. Наши «зоркие глаза» организовали городской фотоклуб и стали заметны в фотомире страны и мира. Факультет общественных профессий в конце концов был организован, но после меня и не у нас, а в пединституте. Учителю в работе с ребятами вторая — «культурная» профессия нужнее, чем инженеру, но и ему в «рабочих массах» была б не лишней. Как многие старые «политехи», я не одобрял в свое время размывание инженерного монолита нашего славного вуза волнами гуманитарных кафедр и факультетов с преобразованием в университет. Но ведь мы в свое время за это и боролись, взять хотя бы «проект века» КЛИФ.

## «Экспрессионизм»

Есть такое психическое заболевание — раздвоение личности. Насчет психики у меня вроде не наблюдалось, а по жизни моей в то время, конечно так, я что айболитовский Тянитолкай с двумя головами и в разные стороны. Одна голова болит у меня за преподавание, технические науки, «по жизни» я в «политехе», другая в писанине и другом, гуманитарном вузе. Вот уж поистине

по-маяковски про меня: «попашет (на ниве технического образования), попишет стихи». Ну не стихи, так прозу, хочешь, не хочешь, а пиши, иначе из Литинститута вытурят. И в газетах я активный автор — в «Кадрах», и областном «Комсомольце».

Стал и к товарищам по перу прибиваться, посещать новорожденное литературное объединение (почему-то говорили «при») при Дворце культуры железнодорожников (в народе, ленивом на язык, Дэкажэдэ, и все понимали, что в этом ничего оскорбительного о евреях, а именно этот Дворец). Будто для меня открыли это литобъединение. До того было что-то в «педе» и при Дворце пионеров «Алые паруса» да еще «рабочие» литобъединения при заводах. Новое при Дэкажэдэ сразу стало считаться городским, хотя и судя по названию «Экспресс», предназначалось для железнодорожников, по нему и наша литературная деятельность тех дней — «экспрессионизм».

Литобъединение сразу поделили на секции поэзии и прозы. Поэзию повел *Лев Рахлис*, который числился во Дворце старшим редактором. Что уж он там редактировал, не знаю, наверно, писал сценарии всяких празднеств и ставил их. Неслучайно, по открытию по-соседству института культуры стал здесь преподавать сценарное мастерство и ведать кафедрой режиссуры «Театрализованных представлений и празднеств». Лет 20 вел, пока на валах выездов из страны не вынесло и его из «суверенной» уже России, но в отличие от большинства моих аналогичных знакомых, не на историческую родину, а за океан. Кто-то там у него уже приземлился, помогал в первое время, и все равно для русскоязычного поэта, сценариста и режиссера узкого назначения непонятно, чем жить. А он из своей Атланты излучал только положительные эмоции. То ему зубы, оказывается, бесплатно и на «все сто» поставили, то русских (русскоязычных) там столько, что завернул для них газетку, то приглашен вести историю русской литературы в местном университете. Можно представить, как он был великолепен на кафедре. Умные очки, энергичное лицо и бел как лунь. Небось, там думают, от гонений поседел, «из империи зла» сбежал, диссидент. Ничего подобного за ним не замечал. «Негативным» он вел занятия уже в «Экспрессе», а было ему тогда чуть больше 20 лет. Лев был крепким, с юморком детским поэтом, о том и названия вышедших

у нас книжек: «Шишел-мышел», «Загадка деда Буквариона» (тут он маленько заимствовал у Юрия Никитина, у того «Загадки деда Буквоеда» раньше вышли). «Тук-тук» Рахлис издал уже в Атланте, а вот к 70-летию книжку ему сделали снова у нас.

Прозу в «Экспрессе» вел *Юрий Абраменко*. Я ходил сюда, и с ним у меня отношения сразу сложились свои. Способствовало тому, что он тоже учился в Литинституте, окончил, я как раз поступил, и потому все расспрашивал после моих сессий, как там дела. Писал Юра плотно, слово влило в слово, печатался очень осторожно и мало. Скажешь: «Ну что ты тянешь? Хорошо же, сдавай». «Нет, еще почиркаю, сыровато, водицы много». Вот и книга у него лишь одна, сборник «Будут расставанья» вышел в Шестьдесят третьем году, а в остальные десятилетия лишь рассказы в сборниках. А ведь писал без перерывов и «служил» потому не в полную, а лишь на хлебушек. Вот с кем о писании говорить было интересно. Слово чувствовал, люди, встречи у него интересные. Работал Абраменко на радиоактивном химкомбинате «Маяк» и у Зубра, того самого Тимофеева-Ресовского в его биологической (радиобиология) на озере Миассовом, и я много от него взял, «работая» книгу «Атомная эра. Челябинский исход», главки «Сияющиеobelisks», «Зубр на озерах», «Дублер Арзамаса-16» у меня с оживляем очевидца в его лице. Последний рассказ Юра опубликовал в сборнике, вышедшем в Тель-Авиве. Вот уж не подзревал, по фамилии, с виду хохол и хохол.

Из «экспрессионистов» «на всю оставшуюся жизнь» сошелся с Виктором Окуновым. Тоже как Абраменко, много писал, мало издавал, этот проживал героев самим собой. Взять его «творческие командировки» подобно моей в «геологию», по стройкам, в том числе на Братскую ГЭС. Сюда он, кстати, и мотанул, не окончив «пед». Вдруг да не стало на «Экспрессе» Вити, а он уже пишет с Братской. Вернулся в Челябину через 15 лет, обкатав полстраны от Лены до Карелии. «Творческим отчетом» его скитаний стали сборники «Человек из оргнабора» и «Записки лимитчика». Кстати, еще один, первый сборник «Твой день, твой час» — стихи. Мне он на «Экспрессе» запомнился рассказом «Закованный шкафом», очень остроумно. Напоминал ему, не помнит, заездил по стройкам.

Вернувшись, Окунев кормился газетным и книжным трудом — был журналистом, редактором, и наши пути пересекались не раз, в ЮУКИ очень даже. В Девяностом году должен был выйти мой роман-мозаика «На ясный огонь». Я все чистил и чистил, тормозил сдачу, и редактор Володя Харьковский психанул да запустил вместо меня его «Записки лимитчика». Виктору было передо мной неловко, вроде как дорогу перебежал. А в чем его вина, сам виноват? Думал, выжму всю воду и сдам на следующий год. И сдал, но книга не пошла, «рассыпали» перед выходом в свет, стала нерентабельной при переходе «на рыночные отношения». Виктор тогда в ЮУКИ был редактором в моей редакции «нехудожественной литературы».

В остальные времена встречал его на улице, так и звал — «человек улицы». Он почему-то все искал корм котяре, по его рассказам тот был форменный хулиган. Когда у моей Лапушки плохо стало с желудком, дельно посоветовал, и все наладилось. Здорово-пеший образ жизни был у него налицо — румянец шире щек, но, увы, в новом веке он среди тех, кого уж нет.

Еще мне с «Экспресса» свойским стал *Юрий Фоос*, хотя и поэт, без рифмы строки не сочинил, Поэт и в стихах, и по жизни. Заглянул уточнить о нем в энциклопедию «Челябинск», а на «Ф» его нет. Вот, думаю, составители, всяких рифмоплетов суют, а стоящего поэта не посчитали нужным. Включили, включили, только на букву «С»: «Седов (наст. фам. Фоос) Юрий Фридрихович (р. 23.09.1937, с. Ново-Любино Омской обл.) до 1945 жил на Ямале (я и не знал, что и сюда загоняли репрессированный народ). Окончил школу в Чел.». Ну а дальше все у него на моих глазах. Учился со мной на одном Механико-технологическом факультете, только он закончил, а я перебежал на Автотракторный.

Мы с ним много общались и в «Кадрах», а еще были вхожи в одну семью. Он встречался с одной сестричкой, я с другой, но оба безрезультатно.

Писал Фоос-Седов всегда очень хорошо и много. В наши времена из молодых, да и вообще, челябинцев только его печатали центральные журналы «Юность», «Смена», «Аврора», альманах «Поэзия», даже югославский «Zivot». Они и отзывались о нем хорошо. А вот у нас Фооса печатали мало, первый сборник вы-

шел в 40 лет, а всего лишь три. «Идеологи» относились к нему подозрительно, занеся чуть ли не в декаденты. Он и в самом деле писал «классически» — красиво. Да братец еще ему подгадил, был он из «бродских мальчиков» — стилиг. Что-то их гоп-компания в «Южняке» (гостиница и ресторан «Южный Урал») сотворила такое, что был громкий процесс. Фамилия редкая, вот и чуть что: «А-а, это тот самый Фоос, от которого голая девка из «Южняка» прыгнула и разбилась!» Вот и, когда пошла его первая книга «Не тают круги на воде», ему в издательстве посоветовали взять «псевдо», и стал он Седов.

Тоже, как и Окунев и тезка Абраменко, жил Юра для литературы, тратя остальное время лишь на прокорм. Инженерил совсем мало, все на подхвате. Встречаю его на Алом поле, а он тут каким-то сторожем: «А что? Зато писать ночью знаешь как хорошо».

От Фооса связка к главному моему литератору «и прочая» по жизни Кириллу Шишову. Вместе начинали и в «Экспрессе», и в «Кадрах». Где-то у меня вырезка из «Комсомольца» — «Камерные поэты» — в ней о Фоосе с Шишовым и «нездоровых тенденциях в “Экспрессе”». Обвинялись они в «слепом подражании разным Ахматовым, Цветаевым, Пастернакам, чье искусство далеко от народа». О Шишове особый разговор, но во второй части моих воспоминаний. С ним я «на всю оставшуюся жизнь» — в литературе, культуре и краеведении — вместе из старого в новый век.

*Сергей Борисов* стал близок по «Экспрессу», «Кадрам», «Бане» и СТЭМу. В общем-то, он шел по жизни моим путем, но с запозданием на несколько лет. Я маленько учился на аэрокосмическом, он его закончил, сколько-то инженерил, как и я, преподавал в альма-матер. Потом тоже переходил из «Комсомольца» при мне в «Вечерку», ведал литературой и был мне этим интересен. Как и мой Вахрушев, в СТЭМе он прикладывал руку к сценарству и режиссуре, и, похоже, заметно, иначе не стал бы режиссером агитационно-художественных театров (вы слышали о таких?), и даже преподавал сценарное мастерство (!) в нашем институте культуры, уже как академии культуры и искусства.

Одно время работали мы с ним вместе в ЮУКИ, он в художественной редакции, а я — в «нехудожественной». К тому времени Сергей вошел в поэтическую рубрику сборником «Свет вечерний»,

был уже и грузинский переводчик и очень там на хорошем счету. Попасть к нему в очередь на перевод грузины локтями толкались, до суверенитета наших стран успел пять поэтов перевести. Мог бы и больше, да превратились мы в «Джорджии» из друзей-защитников во врагов-угнетателей.

В новом веке с Сергеем плотно встречался, когда «работал» книгу об Аэрокосмическом факультете. В созвездье факультетских поэтов самый заметный. После того наши встречи почему-то все юбилейно-застольные, на последней заявил, что никакой я не поэт. Кто бы сомневался.

### **Аспирантский блок. 1966—67**

Помнится «возвращение в круги своя» — «политех» Шестидесятых годов какой-то домашностью. Будто вернулся после долгой разлуки в родные стены уже взрослым. Где все свои, вчерашние отцы-командиры теперь с тобой в общих делах, а студенты — младшие братья, которых самим небом завещано учить уму-разуму. Особо домашность эта охватила, как перебрался в общежитие. Даже на занятия идешь по-домашнему, и в холода в пиджачке, как пустили Южный корпус, так в него просто за угол завернуть. Бывало заметишь, что студенты косятся ниже пояса, а ты, оказывается, в тапках по-домашнему пришел на занятия, а то и в тренировочно-домашнем «трико».

В «геологию» я уезжал из студенческого общежития, вернулся в Аспирантский блок. Так называлась общага, где комнаты занимали молодые преподаватели с семьями и без, в ожидании выделения квартир. Дело многолетнее, и по коридорам бегали дошколята, ходили чуть ли не старшеклассники. Комнаты одиноким «препам» выделялись у лестницы. Не остывшие от студенчества и без жесткого дисциплинарного гнета студсовета и разных проверок от деканата, профкома и комсомола, они, то есть мы — одинокие, вели себя очень шумно, искушая женатиков вернуться к холостяцкой жизни по-современному, так прецеденты были.

Тихие комнаты среди нас были редкость, наша, к примеру, даже удостоилась за то звание «обитель мирных хлебопашцев». Были со мной в «хлебопашцах» два ассистента с Энергофака.

Один звался Бобина по росту и имени Борис. Он и в «препах» гонял «баскет», что оставило очень приятные воспоминания у моего «гастера» — желудка. Команде выделяли талоны на питание, да такие, что Боб не поедал их и частенько звал меня на помощь. Конечно, я не отказывал ему в товарищеской услуге, о чем мой желудок вспоминает до сих пор с большим удовольствием.

Еще звал я своего сожителя ласково «французик с авеню Жоффр», был такой французский генерал. Боб никакой не француз, он из хохлов-эмигрантов, родом из Шанхая, куда наши разных мастей прибились после Октября. Отец его был парходным механиком и растил сына на этом вот самом авеню Жоффр в колонии выходцев со всех стран, в том числе и перекрасившейся в красный цвет России. Грехов особых перед Советской властью механик, похоже, не набрал, и когда вернулся в Союз во вторую волну возвращения эмигрантов после войны, в отличие от других, с ним обошлись без лагерей. В наше с Бобом совместное время отец-механик еще плавал по Каме.

Третий наш сожитель был, современным языком, так «номинативным», проживал у мамы, а у нас был лишь прописан, состоя в очереди на жилье, как бы не имеющий жилплощади, такой вот хитрован. Пустая койка его стояла для разных комиссий и была очень удобна для наших гостей, в основном, припозднившихся у соседей — «мамаев».

«Мамаи» — они и есть мамаи, подобно историческим ордынцам эти устраивали на нашу «обитель мирных хлебопашцев» набеги. Сидишь себе за мирным столовым трудом, и вдруг дверь настезь, свора «мамаев» с диким криком врывается и прямиком к тумбочке, где у нас хранились кой-какие припасы «червячка заморить». «С товарищами надо делиться, им тоже кушать хоча! Тебе половину и мне половину», — оправдывали «мамаи» свои дикие налеты, впрочем, выметая тумбочку подчистую. Конечно, зайдешь к ним удачно, за стол пригласят, но это ж угадать очень и очень надо, вечно у них шаром покати. Жили они по туристской песне: «На завтра ты не оставляй того, что можно съесть сегодня», потому что были истыми туристами, заметными и в городском бродячем мире.

Шум, суета у них денно и нощно, как и положено на диком стойбище. Проходной двор, ночлежка, потому что здесь все сборы



в походы и разборы из походов и вузовские, и городские. Тогда на койках вдвоем и на полу вповалку, иной раз и у нас ни пройдешь, ни проедешь — оккупация, слава богу, временная. Вечный шум и тарарам у них, не говорят, так поют. И мы с ними и в походы, и в песни, потому и тихо в нашей обители.

«Мамаев» было всегда четверо, как положено по общежитскому раскладу, койки по всем углам, и все заняты, хитреца, как наш Юра у них, ни одного. Долгожителями и душой «мамаева стойбища» были Фламандец Кло и Ребрант, потому что первый — «мейстзингер» и обжора, второй — фотоживописец. По институту же они ассистенты самого хитромудрого Приборостроительного факультета и даже с кафедры самого ректора Мельникова. Так что народ куда как серьезный, чего по ним в Аспирантском блоке никак не скажешь.

Первый — Владимир Клойзнер, потому и Кло, а еще Тяни-толкай с другим туристом (мастер спорта!) Розетом. На пару они складывались с Рознер и Клозет. Ребрант — рыжеватый бородач Александр Меньшиков.

Представляете «походы выходного дня»? До чего ж популярны они были тогда! Пятница, четыре часа дня, народ валом прет отдохнуть на лоно природы. Электричка набита до распираемости. И не успеет дронуть вагон в движении, как в пестрядину гвалта вплетается звонкая нить, это настраивается гитара. Вы знаете, что такое «мейстзингер» в походе? Это же принцесса на горошине. В электричке ты висишь-киснешь среди распаренных тел, он же не просто сидит, вокруг него даже пустота. Ему ведь развернуться требуется, чтобы нужную ноту выщипнуть из гитарных струн. Рюкзак у него самый тощий, чтобы гитару на животе не перевешивал. На привале ему лучший кус, чтоб не волком с голоду выл, а пел как надо. В палатке — самое теплое место, не дай боже горлышко застудит — несмазанной дверью заскрипит, козлом заблеет. Вот это и есть наш Фламандец Кло. Да мы на него не в обиде, другого такого поискать — гитарный марафонец. «Володя, ты сколько песен знаешь?» — спросишь. «Сколько потребуется». Вы сутки протрынькаете на гитаре? А двое? А сколько потребуется? Да у вас за час пальцы откажут. А он может. Он свои обязанности по музыкальному оформлению похода исполняет неукоснительно: садимся в электричку, берет первый аккорд, высаживаемся с по-

хода — последний. А между этими аккордами полный поход песни с перерывами лишь на обед и сон, и боже упаси повториться — по новой все и по новой.

Ребрант живописал фотоаппаратом. И было ему в этом деле труднее, чем великому живописцу. Тот живописал в мастерской — крыша над головой, тепло, светло и мухи не кусают. Захочет что, так через год подправит кистью. Наш же Ребрант живописал под открытым небом и чуть что — вся «живопись» насмарку. «Саня, где ты опять вывозился?». «Точку съемки искал». «Ну и как, нашел?» «Нашел, да пленку засветил, объектив заело». Вот уж где все та же добыча радия, перелопачиваешь единую фото ради тысячи метров фотопленки (ну поменьше, все равно много). Если наш «мейстзингер» страдает в походе глоткой и пальцами, Ребрант ногами. Мы по тропе напрямик вперед-вперед, а он в поисках нужной точки съемки собачонкой вокруг тропы петляет, мы — километр, он — десять, и если с километра должный кадр-два прихватит, это уже хорошо. Зато и фотопамять о нем, о наших походах, об Аспирантском блоке в моем фотоальбоме.

## СОЛОВЬИНЫЕ НОЧИ

Соловьи на нас набросились в первой же майской вылазке — «походе выходного дня», который пришелся на Чебаркуль. Вот мы распеваемся в электричке, вот спрыгиваем на платформу «Кисегач» и шагаем вдоль-по берегу озера.

Совсем по-некрасовски, «Идет-гудет зеленый шум, зеленый шум, весенний шум. Играючи расходится вдруг ветер верховой... Как облако все зелено, и воздух, и вода». Лес «весь промыт был весенними ливнями, в темных оврагах стояла вода». Стих за стихом, песня за песней в душе. Душа поет. В низинах деревья стоят по колено в снеготалой воде. Просыхающие взлобки на смутной еще первозелени золотятся первоцветьем. Лягушачий гимн Гименя завершает запоздалое икрометание, в прогретых лужах уже шустрят юркие запятые головастики. «Белой акации кисти душистые» из других мест. У нас она желтая, в городах в полный рост, а на природе карликовая, от горшка два вершка, но тоже желто-солнечная. У нас свои «кисти душистые», тоже белые,

но черемухи. «Черемуховые холода» у нас может и оттого, что в черемуховый цвет выходят остатки зимушки-зимы, до чего же так свеж, и так трогает душу сладковато-горьковатый черемуховый дух. Он заливает мир, и мы идем в сплошной кипени черемухового цвета, которая обрывается в озерную гладь. И это соседство тревожно. Будто лишь перед самым нашим приходом озеро бушевало, девятыми валами хлестало-накатывало на берега, и кипень черемухи — осевшая на кусты пена того озерного буйства.

Бодрым шагом шагаем мы под путевой наигрыш нашего «мейстингера»: «Однажды рыжий Шванге, бумс-траля-ля, в казарму плелся с пьянки, бумс-траля-ля...». Тут не слова важны, а ритм, это он умеет, он, вообще, умеет на все случаи походной жизни. Ну и гитара, согласная с ним на все эти случаи, стоит коснуться его пальцам, только его. Слышал я воровские попытки опробовать струны, когда «орфей» отлучился на минутку, все мы люди. Так она такую похабщину понесла из-под пальцев насильника, что... Что конь без джигита, то гитара без Фламандца Кло.

«Мамаи» вывели нас на место уже на закате. Мысок длинный и узкий, прострел взглядом с берега на берег. У «мамаев» здесь все было схвачено, похоже, еще с прошлого лета — рогульки под костер, шесты и кольшки под палатки, ворох сушняка. Любодорого было участвовать в слаженной привальной рапсодии под гитарный перезвон. Каждый знал, что делать, новички вроде меня вплетались как лыко в строку, по крайней мере не путались под ногами.

Кому интересны и помнятся бивачные хлопоты, одно к одному от Карелии до Камчатки. На ужин какая-то нехитрая скоробуриха, мы сюда не гурманить приехали. «Заварен круто дымный чай», почки-листочки уже под рукой, даже кусты смородины нашлись. Вы пили чай со смородиновыми почками? Березовые, только-только что проклюнувшиеся листочки тоже к месту. Ну а потом, понятно, песни у костра, без отбоя до выхода.

Я у костра в ту ночь не сидел, песен не пел. Соловьи не дали. «Сладкой песней меня заманили, взяли душу мою соловьи...». Кажется, так у поэта. Соловьиный рай — тот заветный мысок. Приходите сюда в майскую ночь, таких прелестей наслушаетесь, атеизм в вас заколеблется. Райские кущи, соловьиный рай. Что

за певцы тут выступают-нащелкивают, стонут в душевной истоме, заходятся. Идешь по мыску, как по концертным залам. Этот — халтурщик, несколько нот вякнет и снова повторяется, как заезженная пластинка, как современные звезды эстрады, но таких меньше. Все «без фанеры», поющие и голосистые, неповторимые, до двенадцати колен выделывают. Такие ноты берут, что уж почти и не улавливаешь — ультразвуковые.

А соловьиная сцена, что за сцена в перевозорье! Видали, как опускается роса? На новорожденную зелень листочков, мелких и мягких, как лепет ребенка. Пробовали вы пройти босиком по майской росе? Метерлинк называл это счастьем. А еще говорят, умойся ей, и засияешь ясным солнышком.

Шорох на соседнем взлобке опустил меня из райских кущей на бренную землю, вернул в явь. И любопытно, и жутковато. Страху я не успел набраться, закашляла живность, вертикальное положение приняла, сверкнула стекляшкой в раннем солнечном луче. Это Ребрандт наш точку для съемок выбирает. Он, оказывается, в прошлом году еще заметил, что отсюда восход особенный, затемно пришел, чтобы не упустить. Какой уж тут соловьиный настрой, песню испортил.

Восход и в самом деле был что надо. Так все было. Обвидняло. Рассвело. Озеро не шелохнется, ну прямо как человек в сладкий рассветный сон. Солнце подобралось за почерневший сосняк и стало на него выкатываться. Лучи потекли по озеру. Забеспокоилось, зашевелилось-зарябило оно, запотягивалось, просыпаясь. Легкий туманец его дыхания закурился в заводях, сливаясь с кипенью черемухи. А солнце меж тем попримяло крону сосняка, напряжилось на ней и разом скакнуло в небо. Тут и новый день начался.

Через сколько-то в такую же вот майскую соловьиную пору возвращался я последней электричкой из Златоуста. Повод поездки был печальный, и я был совсем не в себе. Безразлично, душно было на душе. Я встал к окну, поднял стекло. И что-то сразу дрогнуло знакомо-тревожное. Вгляделся в лесные горы, низины белели нестаявшим снегом. Цвела черемуха. Это ее сладковато-горький холодок пробудил меня. Я стоял у окна, и «печаль моя была светла».

На Кисегаче я вышел в тамбур и перегнулся, ухватившись за поручень, чтобы лучше видеть и слышать забытое. Бугор скрывал берег, и где было увидеть мне кипень-черемуху за околицей, услышать соловья на заветном далеком мысу. По зову памяти полагалось бы мне забыться, шагнуть на перрон, за бугор.

Я, конечно, этого не сделал. Прошел на свое место, опустил окно и стал думать о продолжении прерванных печальной поездкой своих дел. Закатное небо меж тем погасло на европейском, надгорном небосклоне. Зажгли свет, и окна залила тьма. Я уже совсем вроде вернулся в привычное себя, но еще что-то в нем мешало так, что снова встал у окна и поднял вверх. Сплошная тьма, за насыпью горная кипень-черемуха откипела. Но я стоял и смотрел, будто что-то еще будет. И оно пришло. То ли за Мисяшем уже, то ли под Шахматово нет не белая, но светлая кипень снова подкатила к какой-то по счету досчатой площадке «километровой» остановки. Это цвела сирень. И так весь остаток пути на каждой площадке, при каждой станций. Мой вечер доцветал теплым сиреневым духом. Для полноты воспоминаний не хватало лишь соловья. И они запели, залили ночь, стоило затихнуть шуму движения. Пока город не принял электричку.

### **«Перепеты все песни...»**

Давно уже перепеты, не звучат наши песни в электричках, на озерах и в горах, походах серьезных — «долгоиграющих» и соседних — выходного дня. «Замолкли звуки чудных песен, не раздаваться им» и в «стойбище мамаев». Нет в аспирантском блоке ни «мамаев», ни «мирных хлебопашцев», впрочем, и самого «блока» нет. Здание стоит, к новому веку даже облагородилось, но это уже не пристанище ассистентов и аспирантов. С переходом на рыночные отношения невозможно стало держать его родному «политеху», хотя и уже не скромному институту, а университету. Здание перешло вновь организованной налоговой полиции, но не успела она перестроить его под чиновничьи дела, облагородить на евролад, как была прикрыта. Так ведь свято место пусто не бывает, в новом веке собирают отсюда налоговые службы подати с деловых людей.

Но песни звучат, и в общагах, и в электричках, и в походах, и на фестивалях, везде, где мы начинали. И наши голоса еще не все смолкли, и дети наши поют, и внуки голоса подают. Недаром поется: «Песня остается с человеком, песня не расстанется с тобой».

А что случилось с аспирантблоковцами, сотоварищами по преподавательской деятельности? Сотоварищи мои по «обители мирных хлебопашцев» и Боб — «французик с авеню Жоффри» и «номинативный» Юра стали «доками» — докторами технических наук по электрической части. Юру встречаю в электричке, у него «сотоварищи» турприют где-то под Таганаем. Боб уехал к папе на Каму, там стал «завкафом» и деканом в Пермском университете и постепенно дедушкой. «Мамаи» остепенились до кандидатской, причем Фламандец Кло перешел в высшие математики.

Из семейных одноэтажников больше всего удивил меня предельно тихий сосед через стенку. Тогда Леня растил малолетнего базластого первенца, который давал шороху за все семейство. Папа Леня тогда ассистировал на Мехфаке с моим Вахрушевым. Через много лет, уже в новом веке, позвали меня помочь с юбилейной книгой, когда факультету, теперь уже Аэрокосмическому, исполнилось полвека. Среди старых знакомых был удивлен моим тихим застеночным соседом. Оказывается, Лёня — это Леопольд Анатольевич Шефер, теперь один из столпов «Аэрокосмоса», доктор наук по ракетной части, действительный член какой-то особой Академии и видный в стране спец «по надежности систем при вибрациях», заведует университетским отделом по качеству обучения (есть и такой).

Все, с кем начинали мы на кафедре «ДВС» в середине Шестидесятых годов в аспирантах и ассистентах, остепенились. «Старик» Фарафонов ушел на заслуженный отдых кандидатом технических наук. Вот кто сохранился один к одному, та же крестьянская невозмутимость. Седина еще больше осветлила блондина. Лицо потемнело, но это здоровый солнечный загар, по которому не ошибешься, угадав рыбака или садовода. Михаил Фролович оказался заядлым по первой части. О известном «двигательском трио» повторюсь. Кто на факультете, да и всем вузе не знает Г. Д. Драгунова, Б. А. Шароглазова и А. П. Ставрова. Все доктора, все профессора, все долголетние, многосрочные «завкафы». Долгое время этот

триумвират делал погоду на факультете, три кафедры — «Двигатели», «Автомобили» и «Эксплуатация» были за ними. Челябинская научная школа дизелестроения ведущая в стране, авторитетная в мире, и большая заслуга в том вот этой троицы.

Ну а я в свое время не стал путаться в их строю и шагать с ними к вершинам науки и факультетской славы. Раздвоение между инженерной наукой и словесными делами достигло предела на четвертый преподавательский год. Я понял, дальше нельзя, глянул туда, глянул сюда. В Литинституте за мои учебные рассказы глядят по головке, вселяя надежды на писательские успехи, газеты одобряют, что ни напишу. На кафедре же, увы, не глядят, и сам понимаю, совсем не за что. На полновесные лекции голосок барахлит. В «науке» определиться никак не могу, ни в двигателях, ни в «автоматике», кандидатскую диссертацию не закладываю, а без «науки» в вузе нельзя. Топчешься, так не занимай место, освободи «соискателям»<sup>1</sup>. И я решился на переход в газету, и меня из внештатников (общественный корреспондент) перевели в штат областной «молодежки» — «Комсомолец». В моем активе не только проба газетного пера, но еще и инженер-производственник, работник высшей школы, жизнь познал, и это очень тогда ценилось. Вообще, и в газете, и в издательстве я со всеми был на ты. АТ-фак все-таки большая школа не только профессионально-инженерная, но и по жизни, и за то ему спасибо.

## **Книжно-политехнический эпилог. 2001—2007**

Вообще-то я пробыв в «политхе» в «штате» «студом» и «препом» восемь лет, однако полный стаж довожу до чертовой дюжины, плюсуя пятирик нового века. Курс читал — лекции по книжному делу и по два года, как минимум, отдал книгам о факультетах, к которым имел отношение, в этом мне, конечно, повезло, не каждому везет из закатных дней вернуться-оказаться «на заре туманной юности».

---

<sup>1</sup> Соискатель — преподаватель, специалист, готовящий себя на соискание ученого звания кандидата, доктора наук.

## «Мы — с Автотракторного факультета»

Голос оттуда прозвучал обыденно-прозаично из телефонной трубки: «Это квартира Моисеевых?». Привычно настороженно спрашиваю: «Кого бы вы хотели?». Конкретизируют — меня. Не тороплюсь признаваться: «Представьтесь, пожалуйста». «Декан Автотракторного факультета Юрий Владимирович Рождественский». Машинально отмечаю про себя — не-Антропов. Коллекционирую двойных тезок, есть у меня не: Буденный, Молотов, два Пушкиных, Маяковский... С пополнением! Осознаю услышанное. Кого же из деканов родного АТ-фака я знаю — начинал при Балжи, напоследок Анискин, тот передал пост «замдеку»<sup>1</sup> Пинигину, в лихие Девяностые годы мой однокашник по «ДВС» Драгунов. Нет, о Рождественском не слышал. Для наводки спрашиваю: «А как же Драгунов?». «Так я у него деканат и принял в Двухтысячном году». В силу вступает «племя молодое, незнакомое». «Как вы меня нашли?» — заключаю предосторожности. «Порекомендовал обратиться к Вам Лев Григорьевич Анискин». Раз Анискин, при котором я «грыз гранит науки» и «сеял разумное, доброе, вечное», а потом выпалывал неладные всходы на сессиях, тогда, конечно, вопрос исчерпан. Но зачем я им понадобился, почему вспомнили? Оказывается в Третьем году факультету 60 лет стукнет, как-никак круглая дата, вот и решили в честь юбилея книжку выпустить. Ну и как тут без меня, о моих газетно-книжных успехах наслышаны, земля слухом помнится. Последний обязательный вопрос в новом веке: «А средства?». «Деньги будут». Кто бы отказался. Из книг жизни, что должен сработать, чтоб, как говорили восточные мудрецы, оставить людям «чекан души своей».

И вот я, как мой друг Освальд Плебейский «погружаюсь». Он — в Урал, я — в проспект Ленина, ему — поездом, я — троллейбусом. На восьмую от меня остановку, «будто в юность машиною времени мчится вагон». Дивно это, но на проспекте и вокруг прошла вся моя челябинская жизнь. Вот город, даже одной улицы на меня хватило. Начинал в конце, у парка в «политехе», ныне люблюсь жизненными закатами посередке в районном пограничье. Каждая остановка, вежа жизни, верстает временные дали. Сколь

<sup>1</sup> «Замдек» — заместитель декана.



далека из сегодняшних дней эта предпоследняя остановка, как давно я на ней не сходил.

Объявляют уже не «Институт», а «Университет», но порядки улицы те же. Справа кремовая громада главного корпуса — памятник моему студенчеству, слева через проспект — белая громада южного — памятник моему ассистентству, за его углом, окнами на сквер аспирантский блок с последней моей «обителью мирных хлебопашцев» и буйным «стойбищем мамаев» дверь в дверь. Так-то оно так, а ты вскинь голову на Главный, на крыше оживление. Это нынешний ректор Вяткин держит слово. Обещался он достроить корпус до проектного решения «а ля МГУ». Красоваться бы ему уже в мои годы таким при строительстве по поговорке: «У нас как в столице, лишь дома пониже да грязь пожиже», не хрущевская бы закомплексованность на пятиэтажье, борьба с «архитектурными излишествами». Чуть повыше и красивше в проекте, марш на хрущевское ложе. Прокруст ноги обрубал. Хрущев головы зданий. Вот и стоит Главный, обрубленный на три этажа, без четырех этажей — наверх и золоченного шпиля с поднебесной фигуркой. Забегая наперед, скажу, Вяткин слово сдержал. Как ему удалось с деньгами (вклад выпускников!), но красуется теперь ЮУрГУ в должном великолепии как визитная карточка города. Он не только все этажи достроил, башенкой с золоченым шпилем увенчал, но еще и на боковых «фронтах» утвердил меднокованные фигуры греческих богов, которые вниз к главному входу то ли дудят что-то, то ли льют. Не разглядишь — высоко. Говорят, теперь ЮУрГУ выше всех зданий города, шпиль его блестит и виден аж с Металлургического района.

Опусти голову, перед входом после тебя встал бронзовый студент, поблескивая в одном месте, поверь теперь здесь такое — потрешь, сессию без хвостов проскочишь. И не смотрел бы при нас студент с проблеском на машинное скопище, в наше время легковушки были по счету, у Балжи была, у Анискина, у кого еще из «препов» не помню. А ведь большинству в том легковом стаде студенты-хозяева. В студентах бы мне в Главный, а точнее в западное крыло, что занимал наш АТ-фак, в ассистентах бы мне через проспект — в Южный корпус, который, пока я болтался в «геологии», возвели. Мне по-прежнему сюда, как уточнил мне

декан Рождественский, факультет по-прежнему здесь же, деканат на третьем этаже у лестницы, как и при мне.

Потому и поднимаюсь, знакомо круто, но единым махом, лестница широка, и ноги знакомо выписывают по ней серпантин, помнят родимые. Вот и деканат. Слева от двери расписание, объявления — семинары, передачи, поздравления спортсменов (много, наш фак всегда был спортивным), справа о том же кубки блестят под стеклом. В предбаннике за заборчиком от студентов голубоглазая секретарша С. Лабунько, потому что невестка «человека в меховых сапогах» — помощника Тулинского в «Кадрах» моих лет. Получил от секретарши разрешение на дверь справа, там меня ждали.

В голове стола в строгом пиджаке при галстукке и крупных очках в подборной оправе, понятно, декан, звать которого Юрий Владимирович. Моложав, но уже высоколоб углом к пробору, виски в возрастной седине, лет за 50. За столом для заседаний Путин, да, да, тот самый, о котором в факультетском гимне хвала в объяснении побед: *«Уважают факультет наш в институте, ведь есть у нас такой вожак как Валька Путин»*. Комсомольский секретарь фака, а потом всего «политеха». Гренадер! За столом в полтора стула, а встанет... Посветлел головой весьма, и весьма, но румянец былой до лба и в глазах комсомольский задор. Изучающий взгляд, и без всяких быка за рога, опережая Рождественского: «Если ты Моисеев, будем делать книгу. Ребята тебя помнят». Это он о преподавателях старых кафедр, потому что новых еще три стало. Называет знакомые мне имена — Драгунов, Шароглазов, Ставров, Прокопьев — все теперь «завкафы», выросли мои однокашники. С ними мы по старинке кашу сварим.

И сварили. В декабре Третьего года пошла по рукам участников юбилейного торжества факультетская книга с названием строкой из нашего гимна «Мы — с Автотракторного факультета». Музыка под арию Дон Кихота из одноименной оперы, слова Владимира Батракова и народные. В официальном варианте в гимне четыре-пять куплетов, а стал собирать допевы-перепевы, так извлек из «народа» еще куплетов 30. Судя по приметам времени, гимн дополняется каждым поколением уже полвека. Фольклор! В первых куплетах моих времен, помимо Путина об авторе слов: *«А Вовка*

*Батраков всегда за фак готов*». Батраков, как и Путин — «Человек из песни, факультетская легенда. Еще на Тимирязева в первокурсье поднимал самодеятельность, плясал, репетируя на лестничной площадке, места больше не было. «Был и чтец, и певец, и на дуде игрец». В конце концов, остановился на мужском хоре, женских-то голосов на «факе» раз-два и обчелся. Организовал и руководил, пополняя копилку факультетской славы дипломами всех смотров. Дирижировал хором и на юбилейном концерте.

Дальше в гимне обращение к девушкам с заверениями, что атешники — самые верные друзья сердца, а не какие-нибудь, по нынешнему, так бой-френды. Следом, какие мы дружные, крепкие во всем. Было, было, не только в соседнем парке, в другом конце города случись заварушка, в общагу весть: «Наших бьют» и мчит помощь, троллейбус битком. Так отметелят, что до горкома дойдет. Было, но редко, боялись. Знай наших! Заключительные куплеты — свежачок, как к концу века институт *«повысил статус вплоть до университета»*, как *«шипиль ЮУрГУ теперь сверкает над планетой»*. *«Сменилась власть в стране и флаг другого цвета, но путь наш также прям! Диплом напоминает нам: «Мы — с Автотракторного факультета!»*. В заключение:

Передаваться будет вечно эстафета,  
И добавляться к гимну нашему куплеты.  
Звучат в любом краю, аду или раю:  
«Мы — с Автотракторного факультета».

Книга получилась. Разошлась по выпускникам по всей стране и не только. Где наша не пропадала! Даже за океан улетела книга, и там наши нашлись, причем деловые-богатенькие, на раскрутку прислали «капусту». Книга наша спонсорская, современно если, а по старому, так «шапка по кругу». И, вообще, вся наша — книгу «работали» сами: составляли, писали, редактировали, а издали в «Абрисе», где все почти, от главы издательства Гитиса и главного редактора меня, наши. Конечно, горжусь, что руку приложил. В нашем вузе, да и других такой факультетской книги больше не было, нет, может, и не будет. Москва в лучших признала на конкурсе, дипломом отметила, и главное, мужики довольны. На

новый юбилей факультета вышел новый «завод» — «издание исправленное, дополненное». Ах, он грех тщеславия, но как ни вспомнить как на презентации величали: «Книге повезло на декана, автора-составителя и Путина», в нашей тройке он коренник. Как не вспомнить шарж под васнецовские «Три богатыря». Личность Путина выглядывает-узнается в бороде Ильи Муромца. Рождественский сидит на коне Добрыней Никитичем. Я — Алеша Попович, что неправильно, я ведь декана на чертову дюжину лет постарше.

## Человек из песни

Так величают человека настолько знаменитого, что о нем слагают песни. У атешников есть свой человек из песни, даже из гимна, строкой из которого названа книга о факультете. В нем поется так: «Есть у нас такой вожак как Валька Путин». Да простится перед профессором Валентином Александровичем Путиным такое запанибратство. Как говорится, слова из песни не выкинешь. Когда писался гимн, никто о его отчестве и знать не знал. Хотя и был он комсомольским вожаком факультета, а потом института, так ведь комсомольским, и находился между вторым и третьим десятилетием своего жизненного пути, в начале первого из пяти десятилетий служения альма-матер. Начал служение по вузовской общественной линии с первого курса и за полвека лишь года на два-три отлучался по комсомольским (первый секретарь райкома и второй обкома ВЛКСМ) и колесным (в колесном СКБ)<sup>1</sup> делам.

Что ни говори, а Путин — человек в вузе известный. Все полвека на самых видных местах, в самых приметных делах. Обойдем преподавательскую и научную стороны его жизни, она схожа с биографией ветеранов факультетских кафедр: преподаватель, доцент, профессор кафедры «Автомобили». Кандидатская диссертация, автор пяти монографий, в том числе ставшей хрестоматийной книги о колесах.

Путин — организатор. По натуре — трудоголик, в делах он большую часть своей жизни, если не круглосуточно, то уж точно

<sup>1</sup> КБ — конструкторское бюро, СКБ — специальное конструкторское бюро.

не от звонка до звонка и без выходных. И в новом веке, а ведь можно было бы делать себе поблажки. Многие из его сверстников уже не у дел. Из великого множества двигателей, к созданию большинства которых руку приложил АТ-факультет разработками своих питомцев, я бы сравнил Путина с вершиной творчества двигателистов — легендарным В-2. По мощи, по совершенству работы. Всю жизнь «пускачом» он начинал проворачивать вал институтских дел до полных оборотов и без усталости вращал его до победного конца.

Листая книгу — посвящение АТ-факультету, знайте, что у вас в руках его дело. Путин у истоков замысла книги. Путин — «пускач» и двигатель огромного дела по её созданию. Конечно, по-некрасовски: «Труд этот, Валя, был очень громаден, не по плечу одному...». Многие, очень многие однокашники приняли в нем участие, но он — ответственный за выпуск книги, и главный двигатель этого коллективного труда атешников всех поколений от первых — Л. Г. Анискина и Б. Н. Пинигина до студентов XXI века.

Без натяжки сказать, АТ-факультету повезло на Путина. И до того как появиться ему на комсомольском небосклоне, здесь заметны были такие крепкие вожаки как Алла Коваль, Новоселов и Марачевский. Факультету, вообще, везло на вожаков во все времена, каждый из дюжины секретарей его комсомольских десятилетий был не рядовой личностью. Недаром большинство из них потом возглавляли институтский комитет, а затем, если шли по руководящей линии, сделали блестящую карьеру. Бесспорно, далеко пошел бы и Валентин Путин, но посвятил себя альма-матер, и здесь отдавал себя без остатка везде, куда, говоря по-советски, направляли его «партия и правительство» института.

Среди комсомольских вожаков АТ-факультета Путин в особинку. Время ему выпало такое — вторая половина Пятидесятых годов. Первое десятилетие факультета ушло на формирование — учебной, лабораторной базы, кафедр ведущих специальностей, традиций и образа атешников. Факультет, стартовав в декабре Сорок третьего года, как ракета, в путинское время вышел на вторую ступень полета. Можно было остаться на достигнутой орбите вровень с другими факультетами, вращаясь рядом с ними

с переменным успехом, но были силы, было желание, и были достойные вожаки, в их числе Валентин Путин, и факультет сделал рывок на новую орбиту, орбиту первенства среди других всегда и во всем. Именно тогда родился гимн и девиз: «Мы — с Авто-тракторного факультета». Значит должны делать на «пять» всё, за что берешься и в альма-матер, и за её стенами — по жизни. Именно при путинском секретарстве на факультете и в институте начались повальные первенства АТ-фака во всем и неуступка этих первенств в последующие десятилетия.

Кажется, ни одного институтского года не был Путин без общественной нагрузки и оргработы. Выйдя из комсомольского возраста, он становился то председателем институтского месткома, то проректором по вечернему и заочному обучению, то начальником хозяйственного управления института. На счету Валентина Александровича немало приметных в истории вуза дел, в которых он играл первую скрипку. Самые зримые, конечно, строительные. Учебные корпуса, по документам «Зб» и «Зв», библиотека, спальные корпуса в пансионате «Южный» и на базе отдыха «Наука» — это и его труды. Пожалуй, в стране не найдется такого вуза, который рос бы столь стабильно, стремительно и масштабно. По сути, здесь действовал неоформленный на бумаге трест «ЧПИ-строй» со штатом небольшого стройуправления, а по делам совсем не рядовой. Сегодня в это трудно поверить, но Москва тогда давала вузу столько средств, сколько просили, но с жестким условием — «не переварите», на следующий год не получите. И получали, потому что «переваривали», несмотря ни на что. Кто работал? Строители, конечно, старались, знали, заплатят хорошо, но студентов на стройках было много больше. В иные годы только на основных работах по 350 (!), а на подсобных — тысячи. Так было в пору путинского комсомольского секретарства, так было всю его институтскую жизнь. Уж кто-кто, а Путин — «пускатч и двигатель В-2» — умел зажечь студентов, организовать их на приметные дела.

## Вся жизнь на АТ-факе

Юрий Владимирович Рождественский, как говорится, на колесах с юности. В 16 лет уже имел мотоправа и водил машину. Чему удивляться, если оказался он после школы на АТ-факультете под началом легендарного «Эс в кубе» — Сергея Сергеевича Строева, известного с Горьковского автозавода конструктора вездеходных автомобилей. Исследовать автомобили начал чуть ли не с первого курса в студенческом научном обществе (СНО), его руководителем стал ученик С. С. Строева Владислав Павлович Беляев. Работа их была конкретно — практичной, совершенствовали трансмиссию автомобиля «Москвича-412», который передавался на новый завод в Ижевске и должен был стать уральским братом столичного автомобиля, дать первое потомство «Ижей».

Сказать откровенно, эксперимент шел порой во вред учебе. Сроки жесткие, плановые, учебного расписания не признающие. Под руководством Беляева Рождественский машину гонял в разных режимах, бесчетно снимали и ставили коробку, настраивая датчики и токосъемники. Работали в прямом смысле круглосуточно, днем снимали показатели, ночью обрабатывали результаты на «Урале-2» в Вычислительном центре ЧПИ, который тогда набирал силу с первых отечественных ЭВМ — огромных «Уралов» и «Минсков», что это были за ЭВМ, современным студентам представить невозможно. Ночью считали на них не потому, что «совы», днем не хватало на них машинного времени. Популярность дикая, на кафедрах смекнули быстро, что эти мастодонты удобнее логарифмических линеек и арифмометров.

В общем, дело они свое сделали в срок. Во главе со Строевым поехали сдавать работу на Ижевский завод, и работу приняли. Радоваться бы при возвращении, где там, сессия на дворе, и один экзамен уже пропустил. Ничего, сдал, догнал остальных и окончил сессию неплохо. Он, вообще, шел на повышенную, хотя последние курсы занимался, в основном, наукой. Окончил курс наук в Семьдесят первом году с двумя дипломами. Один как у всех, а еще Почетный диплом СНО, который выдавался лучшим «сношникам», юридической силы не имел, но был очень даже весом.

Распределение у Рождественского по тем временам было очень престижное, оставлен при родной кафедре, однако тут же попал под сокращение. Спасибо Анискину — взял на свою кафедру. Тема кандидатской диссертации была у Рождественского совсем новая для факультета — по сложно-нагруженным подшипникам. Три года напряженной работы и защита диссертации. Тема до сих пор одна из главных на кафедре «Автотранспорт», где вот уже более трех десятилетий работает Рождественский.

Юрий Владимирович докторскую диссертацию защитил в 2000 году, продолжив исследования по сложно-нагруженным трибосопряжениям. И продолжает, несмотря на полную преподавательскую нагрузку, руководство факультетом. В 2001 году его избрали деканом АТ-факультета, а в 2009 году после неожиданной кончины Прокопьева возглавил еще и родную кафедру.

Научно-исследовательская работа Рождественского вписывается в план работ Научно-инженерного центра «Надежность и ресурс больших систем машин» УрО РАН, он избран действительным членом Российской академии транспорта.

## **Полмиллиона за голову Муё**

Во время моего студенчества и овладения ВУС зампотехароты на военной кафедре эхо войны тогда не было столь отдаленным, какие-то полтора десятилетия. О боевой славе бронетанковых войск нам напоминали преподаватели — все боевые офицеры, фронтовики. Звон и блеск этой славы напоминал о войне боевыми наградами наших доблестных «препов» при погонах. И в общем парадном строю вызывал подозрительное недоумение подполковник Ковачевич, его «наградный иконостас» выглядел более чем скромно. А ведь с виду очень даже бравый, одни усы чего стоят, как и военный «завкаф» генерал Шаров — «Буденный на танке». Остальные все «о боях-пожарищах, о друзьях-товарищах», он же более чем скромн.

Прояснила нам все Алла Матвеевна Ковачевич. «Завкаф» иностранных языков не только вела у нас «инглиш», но и была известна на факультете более иных «иностранок». Она была секретарем комсомольской организации в конце войны, а потом се-



кретарем партбюро нашего «фака». На вопрос, есть ли у нее связь с Ковачевичем с «военки», призналась, что муж и разговорилась о нем. Тогда мы и узнали, что он югослав, воевал в партизанах, награды его югославские и другие иностранные. Комментарии стали излишни. В Югославии буржуйский прихвостень Тито, о чем говорить. Но раз Ковачевич у нас, значит за нас, но без наградных напоминаний об Югославии. Потом уж от самого Милована Ильина узнал, что у нас оказался после бронетанковой академии в Москве и направлен в Челябинск подальше от мстительных рук бывшего командира.

В работе над факультетской книгой встретился и с Ковачевичем. «Жив курилка!» (кстати, никогда не курил). Как не встретиться, с «военки» моей поры остался лишь он, на факультете участников войны — единицы. И просто узнаваем, почти не изменился. Те же пышные усы, но смугл лишь кожей, в остальном из «позитива» перешел в «негатив».

На 90-летие написал о нем в газету, дав место, в основном, его воспоминаниям из книги о факультете:

Среди наших фронтовиков таких, пожалуй, больше нет. Он в борьбе с фашизмом с 1936 года. Ни одного из них враги не ценили так дорого. Полмиллиона итальянских лир назначил Муссолини за голову Муё. Такова кличка командира партизанского отряда в горах Асколи-Пичено, насолившего дуче так дорого. Самые высокие его награды — югославские ордена «За храбрость», «За заслуги перед народом», польская медаль «За храбрость» и польский орденский крест. У нас очень мало югославских орденосцев, уверен такой польской награды больше нет ни у кого. Это награда так называемого польского правительства в Лондоне, Армии Крайовой, которая после войны воевала в Польше против народной власти. Но в войну поляки были в рядах союзников, и партизаны Муё действовали вместе с бойцами армии Андерса. Из наших ветеранов войны мало кто имел такой разброс военных действий — подполье, партизанское движение, морской десант, танковый корпус, военный прокурор. И мало кто отдал столько бронетанковым войскам — около полувека, начав службу в Югославии и закончив ее в Южно-Уральском госуниверситете.

«Бойцы вспоминают минувшие дни»:

*Моя жизнь во многом типична для своего времени. Родился в черногорском селе Градац, учился в Подгорице в гимназии. В 1936 году вступил в подпольную организацию коммунистической молодежи. Возглавлял молодежную организацию в своем крае. У нас была своя контрразведка, предупредившая меня своевременно о том, что я в черных списках и мне грозит тюрьма. Пришлось уходить на нелегальное положение.*

*6 апреля 1941 года Гитлер неожиданно напал на Югославию. Наша партийная ячейка в полном составе ушла в горы, где сражался в партизанах. 1 апреля 1942 года меня арестовали. 10 апреля десять наших товарищей расстреляли. На следующий день объявили, что расстреляют вторую десятку. За 15 минут до казни разогитированные нами четники взбунтовались, и расстрел нам отменили. В мае приговорили меня к тюремному заключению до конца войны.*

*Из Черногории нас, 300 черногорцев, отправили в лагерь подалее от родных мест — в Италию. При наступлении западные союзники, признававшие четников, относились к нам как к бандитам, и при «освобождении» лагеря приходилось драться с ними. Потом союзников отогнали, и был новый лагерь в центральной Италии. Нас пытались заставить работать на фашистском аэродроме. Мы отказались. 15 дней нас не кормили, каждый день водили на расстрел. Мы подняли восстание. Захватили коменданта лагеря, и ушли группами в разные стороны. Моя группа ушла на юг с оружием.*

*Партизанили в горах Асколи-Пичено. была на редкость морозная, снег на перевалах выпадал до двух метров. Немцы бросили на наше уничтожение горных егерей. Это были самые тяжелые бои, насколько я помню. Фашисты расстреливали всех, кто пытался отказать нам любую помощь. Мы настолько разозлили гитлеровцев, что за уничтожение группы и мою голову назначили премию полмиллиона лир, очень немалая сумма.*

*Некоторые операции проводили с бойцами польской армии Андерса. Имею орденский крест — награду от эмигрантского правительства Польши в Лондоне. С боями соединились с американскими союзниками. Они отправили нас в свой учебный*

*центр. Прошел там специальную, в том числе и диверсионную, подготовку.*

*Потом был морской десант в югославский город Дубровник. В составе югославского танкового корпуса освобождал Герцеговину, Далматию, Боснию. Назначили прокурором армии. Был обвинителем в военных трибуналах. Судили мы военных преступников: четников, усташей, гитлеровцев. Судили их за массовые убийства невинных людей.*

*Тито, который руководил борьбой и встал во главе Югославии после войны, поручил нам сформировать элитную танковую армию. Я отвечал за подбор офицерских кадров. А вскоре самого отправили учиться в Москву, в Бронетанковую академию имени Сталина. К нашему глубочайшему сожалению, между Москвой и Белградом отношения ухудшились. Тито не пошел по пути СССР. 28 июня 1948 года в газете «Правда» была опубликована резолюция Информбюро «о положении в КПЮ...». Мы, 18 югославов — слушателей академии, это очень переживали. Некоторые даже хотели ехать исправлять линию партии. Сошлись на том, что делать этого не следует — посадят. Несколько слушателей, в том числе и я, написали открытое письмо, осуждавшее политику Тито, в «Правду». Пришел приказ вернуться в Югославию, но мы его не выполнили. Попросили политическое убежище в СССР. В 1949 году я принял присягу в Советской армии.*

*После академии я служил в 30-м полку тяжелых танков в Челябинске. С 1954 года — на военной кафедре ЧПИ. С 1975 года после увольнения в запас работал на кафедре колесно-гусеничных машин Автотракторного факультета.*

*В 1948 году меня среди других политэмигрантов осудили заочно. Объявили вне закона. Контрразведка Тито получила задание на нашу ликвидацию, а нас Тито объявил врагами Югославии и агентами Москвы. Пока он был жив, меня в Югославию не пускали. Даже когда умерла мать, не позволили приехать проститься. Амнистировали меня только в 1991 году. Предлагали хорошую жизнь на родине. Но я остался в Челябинске. Тех, кто был со мною в молодости, уже не было в живых. Здесь же у меня появилась родня и столько друзей, близких людей. Челябинской стал моей второй родиной, а ЧПИ — ЮУрГУ,*

*Автотракторный факультет — моим родным домом, моей большой семьей, в которой я и сегодня провожу большую часть своего времени.*

Возраст сокращает разницу в годах, как-то незаметно стали мы с Милованом по-свойски. Как же, оказались из одной «деревни». Я по одну сторону проспекта Ленина, он — по другую. Хлеб берем в одном киоске, здесь наш «почтовый ящик». По телефону «общаемся» и, конечно, на встречах-юбилеях. Наш общий гост «За славянско братство».

### **«На земле, в небесах и на море»**

Кто меня знает, сразу догадается, что название книги моего производства. Хлебом не корми, а дай пустить в заголовок строку из стиха или песни. Вот и здесь думали-гадали, как назвать книгу об Аэрокосмическом факультете, у меня и прозвучала эта строчка из песни «Если завтра война», вроде совсем из другой оперы, а разобратся ну тютелька в тютельку. В песне ведь призыв: «Если завтра война, если завтра в поход, будь сегодня к походу готов». А ведь факультет-то работает на оборонку, обеспечивая готовность к завтрашней войне, готовит инженеров по боевым ракетам. Ну а спецы знают, что ракеты делятся на классы по назначению — поражению целей на земле, в воздухе и на море. Ну прямо в точку, как было не принять мой вариант.

Книгу об этом факультете, с которого начинал я в «политехе», «работали» следом за Автотракторным тоже к юбилею, в Седьмом году аэрофаку стукнуло полвека. Получается, я захватил его предысторию в недрах механико-технологического факультета, как студент группы МТ-138. На следующий год, при образовании нового факультета перешел в число его первых студентов, наша группа стала МХ-209, потому что он образовался как Механический факультет. Дальнейшие переименования происходили уже после меня. Мои одноклассники закончили его как Механический, а через год после них факультет назвали для путаницы шпионов многословно и многозначительно — «Двигатели, приборы и авторы» — ДПА. Кафедра «Двигатели летательных аппаратов», то есть ракет, там была, но никакой специализации по приборам и ав-

томатам здесь не было, этим занимались на Приборостроительном. Для секретности кафедры здесь поначалу просто нумеровались до четырех: помимо двигателей, сами «летательные аппараты» — ракеты, пусковые установки и технология, которую в конце концов вывели с факультета и присоединили к гражданским технологам, дело-то одинаковое. «Гласность» факультет настигла на девятом валу перестройки, когда стали заголять свои секреты перед западом до неприличия и государственной преступности, отнимая хлеб у шпионов. Делать им стало у нас нечего, на разглашение секретов без них дураков хватило. В Девяностом году факультет был рассекречен как РКТ — ракетокосмической техники, через год был облаговзвучен по-современному — Аэрокосмический факультет — АК. В том же году всеобщая конверсия прибила, сюда гражданскую специальность «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование». В новом веке факультет пополнился кафедрой «Гидравлика и гидропривод», которую перебрали с автотракторного факультета. Она-то и стала мостиком к книге об этом факультете.

Мои факультеты — Автотракторный и Аэрокосмический связаны, пожалуй, теснее других. Та же «Гидравлика...» началась на автотракторном, а закончила на аэрокосмическом, так же переходила «Динамика и прочность машин». Почти половина деканов имели к нашим факультетам самое прямое отношение. М. Л. Цепушелова была и нашим, и ихним деканом. Н. И. Грищенко и В. И. Есин — наши выпускники. Е. К. Спиридонов у нас и там заведует кафедрой гидравлики. Деканом «АЭ» его избрали вскоре после перевода кафедры. Евгений Константинович и завлек меня на книгу. Ее заложили, но Путина и Рождественского у них не было, ну и, разумеется, меня. Спиридонов с деканского кресла посмотрел, как дела с книгой, понял, что в юбилейный срок ее не будет, и пригласил меня на прорыв. Видно, глянулось, как я «сработал» автотракторную книгу и подал в ней его кафедру. Из нее же узнал, что я начинал на мехфаке, так что имею отношение, попалась и книга о нашем знаменитом ракетчике В. П. Макееве, в которой я принял участие в Южно-Уральском издательстве. Директор ЮОУКИ В. В. Большаков был выпускником АК-факультета и тоже сказал обо мне слово. В общем, пригласили, а я верный

патриотическому долгу, все-таки два курса был на факультете, не отказался.

«Работать» эту книгу было куда труднее, если АТ-фак знал как свои пять пальцев, то здесь почти ничего, кроме ребят, с которыми учился. Мой интерес в новооткрытии всего и вся за стальными дверями факультетских секретов. Они открылись мне лишь в работе с этой книгой.

Говорим об «исторической связи» факультетов, а у них и местоположение-то общее — второй и третий этажи Южного корпуса. Автотракторный — фасадный коридор, Аэрокосмический — крыло с окнами на восток, сквер с фонтаном, в углу состыковка. Здесь и АК-фака кафедра «Гидравлика...», «гражданские» аудитории и деканат. В том же углу стальная дверь в аэрокосмические секретные помещения, впрочем мне не столь уж незнакомые, в работе над книгой о Макееве, ракетном центре его имени, секретами я достаточно насытился. Ну а среди героев факультетской книги было немало и тех, с кем был знаком по учебе, кто вошел в историю обоих факультетов и не только. Преподаватель Анатолий Морозов был мне хорошо знаком по СТЭМу, Влад Феркель и Сергей Борисов как поэты. Факультет, вообще, оказался очень поэтическим, и мы дали подборку стихов «На крыльях Пегаса» — до десятка имен, были и открытия. Слышал о барде Владимире Малькове, а у него оказалась книжка стихов и дочь Марина, замаскированная по мужу Черновой, знакомая по «Кадрам» и по «Комсомольцу» — «Команде». А как она поет, вот они — гены, голос — низкий, бархатистый. По песенным делам приметна и по Ильменке — Ильменскому фестивалю авторской песни и по питающему его и другие добрые дела фонду Олега Митева.

Владимир Андреевич Мальков представлял в книге кафедру № 1 «Двигатели летательных аппаратов». В ракетном ведомстве в почете медали в честь своих корифеев, Мальков заслужил медали академиков Королева, Макеева и первого космонавта Юрия Гагарина. Кафедру «Летательные аппараты» представлял Юрий Михайлович Хищенко. Помнится по студенчеству — тощий, даже длинный, погодок, мелькал в общественных делах возле Володи Вахрушева, у него тоже три ракетно-космических медали. Третьего кита факультета — кафедру «Автоматические установки» осве-

шал Станислав Петрович Масленников, мне самый знакомый из «действующих лиц» книги. Потому что наш (пишу машинально, все-таки АТ-фак мне роднее), окончил Автотракторный, при мне очень даже приметная величина и в факультетском, и институтском комсомоле, по этим делам и общался. Получил у нас диплом по кафедре «Колесно-гусеничные машины», читай — танки, и сразу же был направлен на «Автоматические установки», заведовал ей больше десятка лет. В нашу общую последнюю, книжную пору по возрасту перешел в замы «завкафа» и читал лекции и по пусковым установкам, и по транспортным машинам.

«Живьем» из моих «механических» одноклассников встретил лишь старосту Диму — кандидата технических наук Дмитрия Владимировича Каленика, но мельком, ведь он преподавал свою технологию уже на другом факультете. По окончании без перерыва более 40 лет вел разную технологию, в «персоналке» книги АК-фака называется пять курсов его лекций. Многих других знакомых встретил, по-современному, так вроде виртуально по этим «персоналкам», в тексте книги и в разговорах с сотоварищами по работе над книгой.

Огладываюсь на добрую дюжину моих вузовских лет, и звучит в душе полузабытая студенческая песня поры моего «Политеха»: *«Расправил крылья для полета в заветной дали институт»*. Так и было в мое время, мы строили его «крыла», обживали их. Мановеньем этих крыльев были отправлены в жизненный полет, получив сполна все, что нам могло дать наше время.

*Огоньки золотые мелькают, огоньки словно звезды мерцают.  
Огоньки дорогие горят и как будто тебе говорят:  
— В добрый путь мы тебя провожаем,  
Смелым будь, мы тебе завещаем!*

Неугасимые огоньки окон альма-матер — родного «политеха» горят в моей памяти, освещая лица друзей тех заветных лет. Конечно, брежневские заморозки и застой, вечные дежурные кампании и «перестройка», развал страны, всего и вся в «раздрай» ельцинской, не были нам в помощь. Но мы сделали все, что могли, везде, где нам определено было по жизни. И это главное.

## Слово об авторе

Моисеев Александр Павлович — краевед, журналист, редактор, литератор, член Союза журналистов СССР (1977). Родился в городе Златоусте, на грани созвездий Скорпиона и Стрельца. Наличие двух путеводных звезд и определило противоречивость натуры, размах его жизненных интересов. Окончил СШ № 8 г. Златоуста, где был одним из организаторов литературного общества «Оазис». Изучать малую родину, т. е. заниматься экологией (краеведение по-гречески) стал с младших классов. Вспоминал о том: «Помню, как на прощальном уроке в четвертом классе моя дорогая учительница Вера Васильевна задала нам стереотипный вопрос, кто кем хочет стать, ответил без колебаний — естествоиспытателем и путешественником». В старших классах ходил в пешие походы до Катав-Ивановска и Кисегача. Об этом сохранились «дневные записи» и публикации в газетах. Самым известным был путевой очерк «Песня земных километров» в московском турсборнике «Просторы зовут» (1963 г.). Моисеева вправе можно отнести к пионерам организационного туризма в области (конец 1950-х гг.) и движения туристско-бардовской песни.

В 1961 году окончил Челябинский политехнический институт, в 1970 г. Литературный институт им. М. Горького. Каждый вуз дал свое, а вместе — это катамаран профессиональной литературной жизни. В конце школы, еще в «Оазисе» определяя себя в писании, осознавал, что полнокровно это невозможно без технического ликбеза, поэтому выбор пал на политех. Литературный институт — это введение в профессиональную литературу. Семь



лет напрямую со столицей и общение живьем с людьми слова: Николаем Рубцовым, Борисом Примеровым, Григорием Баклановым, Львом Ошаниным и многими другими литераторами.

По натуре и сути считает себя дилетантом и энциклопедистом. Потому и в числе самых плодовитых авторов в городской и областной энциклопедиях. Статьи здесь «на все стороны жизни» — от ядерного оружия до часовен, больше всего о людях и инженерии.

По «словесной» квалификации — литератор. На этот счет пишет так: «У поляка Парандовского есть толковые размышления о литературе. По нему, писатель — рыцарь в словесном войске, а большинство литераторы — оруженосцы. Я вот как раз таков. Художественная литература — тоже мое, но так, для интереса, это не мое, не люблю придумывать. Ну а в остальном... Словом, я — литератор».

Моисеев пишет во всех жанрах — от стихов до научных статей. Умеет подавать интересным то, что людям кажется неинтересным. «Это для меня главное. Ну а профессиональное хобби — слово, люблю с ним возиться и в писании, и в поисках первосмысла. В споре, что было вперед: Бог или Слово, уверен — сначала было Слово. Ну и еще очень чувствую природу, я — в ней».

В 1961—64 гг. инженер-механик геологоразведочной экспедиции в Забайкалье, где участвовал в разведке радиоактивных ископаемых; в 1964—67 гг. преподавал на Автотракторном факультете ЧПИ; в 1967—87 гг. корреспондент газеты «Комсомолец», заведующий отделом, ответственный секретарь газеты «Вечерний Челябинск». В 1987—2000 гг. заведующий редакцией ЮУКИ, главный редактор издательства «Рифей»; в новом веке — главный редактор издательства «АБРИС» и газеты «Приглашение к путешествию».

Участник экологической экспедиции «Синегорье» (1985—89 гг.). За пять лет (в летний период) объехал все районы области, что запечатлено в книгах «Памятники природы Челябинской области» и «Челябинский Урал». Также участвовал и в других экспедициях по изучению истории и природы Челябинской области. В 1991—2004 гг. преподавал журналистику в Южно-Уральском государственном университете и школах Челябинска. Один

из организаторов (1989 г.), председатель и заместитель председателя областного общества краеведов, редактор-составитель сборника «Вестник краеведа». Статьи Моисеева публиковались в центральных и уральских газетах, журналах, альманахах и сборниках: «Уральский следопыт», «Урал», «Просторы зовут», «Каменный пояс» и др.; очерки и этюды — в книгах о родном крае: «Челябинск» (1994 г.), «Врата Рифея» (1996 г.), «Челябинск. История моего города» (1999 г.), в энциклопедиях «Челябинск» и «Челябинская область» (является составителем нескольких тематических направлений), в серии «Познай свой край» (6 выпусков). Моисеев — автор-составитель более 30 сборников, в числе которых «Кухня народов России» (1992 г.), «Горное сердце края» (1994 г.), «Садовое кольцо» (1996 г.), «Край нагайбакский» (1997 г.), «Нязепетровский Урал» (1997 г.), «Природа и мы» (15 сборников, 1970—80-е гг.), «На Урал-реке» (1999 г.), «Победа века» (2000 г.), «Мы — с Автотракторного факультета» (2003 г.); тетрадей юного краеведа: «Усть-Катав» (2000 г.), «Верхнеуральский район» (2002 г.), «Конструктор Н. Л. Духов и его школа» (2004 г.), «Южноуральская панорама событий и достижений» (2006 г.) и др. В последние годы вышли авторские книги «Топонимическое краеведение», «На земле, в небесах и на море», «Вечный поиск», роман-мозаика «На ясный огонь».

Моисеев — лауреат краеведческих и журналистских премий им. Ф. Ф. Сыромолотова (1984 г.), им. В. П. Бирюкова (1988 г.), им. В. П. Поляничко (2000 г.), премии Правительства и Законодательного собрания Челябинской области (2003 г.). В 2006 году за литературную и журналистскую деятельность награжден медалью «К 100-летию М. А. Шолохова».

**Ю. Прудникова**

Александр Павлович Моисеев

# «Друзей моих прекрасные черты...»

Автор идеи: *А. Е. Попов*

Верстка *В. Б. Феркель*

Подписано в печать 11.01.10 г.  
Гарнитура Петербург. Бумага офсетная.  
Формат 84×108/32. Объем 9,66 усл.-печ. л.

Заказ № 89.  
Тираж 300 экз.

Отпечатано в типографии  
ООО «Тираж Сервис»  
454091, г. Челябинск, ул. Свободы, 179.

